

КОРОЛЕВА
исторического романа



*Анастасия
Туманова*

Цыганочка,
ваш выход!

Анастасия Туманова
Цыганочка, ваш выход!
Серия «Королева
исторического романа»
Серия «Цыганская сага», книга 7

текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6448085

Анастасия Туманова. Цыганочка, ваш выход!: Эксмо; Москва; 2013

ISBN 978-5-699-68133-4

Аннотация

Гражданская война подходит к концу... По степям южной России едет в поезде цыган Беркуло, только что укравший себе жену. Но недолго длится его счастье – утром ни девушки, ни красноармейца, тоже оказавшегося цыганских кровей, в поезде нет... Что за темный омут – сердце цыганки? Вчера клялась в любви до гроба – а сегодня сбежала с другим...

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

116

Анастасия Туманова

Цыганочка, ваш выход!

*Автор выражает глубокую признательность
Владимиру ЧЕБОТАРЁВУ
(кишинёвцу из вицы миллионешти) за
этнографические консультации*

– Маша! Машенька, милая, золотая моя, открой глаза! Машенька, посмотри на меня! Девочка моя, посмотри... Дэвла¹, Танька, когда это началось-то?! Ей же утром совсем хорошо было! – Молодая цыганка в строгом чёрном «служащем» костюме стояла на коленях возле кровати и лихорадочно ощупывала лежащую в развороченной постели девочку лет четырёх. Малышка не шевелилась, хрипло, тяжело дышала, на её смуглом лбу блестели капельки пота. Мать со страхом смотрела на неё, машинально отводя от лица недлинные, выющиеся волосы. В её чёрных, широко раскрытых глазах стояло отчаяние. Сгрудившиеся вокруг цыгане подавленно молчали. Маленькая комната была едва освещена лишь оплывшим свечным огарком: керосин зимой 1921 года в Москве был ещё дорог. За окном мело.

– Дэвлалэ... Дэвлалэ, неужели тиф?! Ох, да что же делать?! Ночь на дворе! Танька, дура, почему за мной не послали?! Я бы тогда, я бы... О-о-о, дуры проклятые!!!

¹ Боже мой (цыганск.).

– Да ты же работала!

– Ну и что?! Плевать на этот «Нарстрой», я бы прямо с заседания убежала! Машенька, бедная моя, да что же это... – Цыганка расплакалась навзрыд, схватив худую, горячую руку дочери. – Дэвла, надо же в больницу... Если тиф, то надо побыстрее... Я же это видела, я знаю...

– Нинка, да были мы уже в больнице. Рядом тут. На Садовой, – мрачно сказал молодой цыган с некрасивым лицом и длинным, острым, как у птицы, носом. – Нам там поначалу и не открывал никто. Уж стучали-стучали, кричали-кричали – никого! Потом уж сторож высунулся и говорит: никого врачей нет, утром приходите!

– А вы, собачьи дети, сказали, что дитё помирает?! – хрипло вскричала Нина.

– Говорили, да что толку... «Приходите утром» – и всё!

– О-о, чтоб вам подохну-уть... – схватилась за голову Нина. Цыгане столпились вокруг неё, растерянно переглядываясь. В тишине явственно слышалось хриплое дыхание девочки. Её старшая сестрёнка стояла, прижавшись к двери, и со страхом смотрела на мать.

Нина вдруг резко выпрямилась.

– Танька, а ну неси одеяло тёплое, валенки для Маши! – решительно сказала она. – Возьми мой платок пуховой, укутай как следует! Скворечико, беги на Садовую, найди извозчика!

– Да где ж я его среди ночи найду?!

– Где хочешь!!! Чтоб был мне через минуту! Ступай, или придушу!

– Смотри ты, как чужим мужем раскомандовалась... – проворчала, поднимаясь с табуретки, чёрная и глазастая Танька. Но Нина посмотрела на неё так, что она осеклась и, бурча под нос что-то сердитое, ушла за одеялом. Мишка Скворечико торопливо вышел вон.

Через четверть часа Нина вышла из дома. Завёрнутая в лоскутное одеяло Машенька была в беспамятстве. Нина, придерживая голову дочери, торопливо взобралась в экипаж-коробку, вместе с ней вскочил и Мишка.

– Только ради бога, дядя Сидор, отвези поскорей!

– Не бойсь, Нинка... – прогудел немолодой извозчик, разбирая верёвочные вожжи. Он был занесён снегом с ног до головы. – Старушка вихрем домчит! Тебе куда – в больницу?!

– Да пропади она!.. Вези на Лубянку!

– Охти... – Дядя Сидор даже перекрестился и, наполовину развернувшись с козел, недоверчиво посмотрел в бледное, полное решимости лицо молодой цыганки. – Там что, возле Чеки новая больничка завелась?

– Не твоё дело, поезжай! – оскалилась ему в лицо Нина. – И ежели Маша у меня на руках... я тебе горло перерву!!!

Больше извозчик не решался задавать вопросы и до самой Лубянки ожесточённо нахлёстывал свою савраску. Нина молчала, крепко прижимая к себе дочь и глядя неподвижными глазами на пустые, тёмные улицы. Ничего не говорил

и Мишка.

Дом на Лубянке, с недавних пор хорошо известный москвичам, горел всеми окнами.

– Ишь ты, и по ночам им не спится... – пробурчал дядя Сидор, останавливая савраску в переулке. – Нинка, как хочешь, а прямо к дверям не поеду я! Могу туточки тебя обождать!

– Как хочешь. – Нина бережно передала дочь Мишке. – Скворечико, осторожно держи! Я сейчас...

– Нинка, зря ты это, – помедлив, сказал Мишка. – Его и вовсе тут не быть может. Вы с ним когда последний раз виделись? Полгода прошло, коли не больше!

– Может быть... – прошептала Нина, тщательно вытирая слёзы. – Но... но куда же тогда ещё, боже мой?! Молись, Мишка, чтоб он здесь оказался, молись! К кому мне ещё кидаться, скажи?! От вас всех толку – что?!

Мишка не успел ничего ответить – а она уже скрылась в темноте, лишь цепочка следов темнела на снегу. Скворечико тихо выругался, избегая вопросительного взгляда извозчика, склонился к Машеньке, потрогал её лоб, вздохнул.

– Откройте! Откройте! Откройте!!! – Нине казалось, что она уже целый час долбит в промёрзшую дверь, а ей всё никто не отпирал. «Но ведь свет горит! Значит, кто-то есть! Чем они там, черти их раздери, занимаются?!» Нина из последних сил яростно ударила кулаком – и дверь внезапно распахнулась, явив заспанного молодого парня в сдвинутой

на затылок фуражке и распахнутом кожане.

– Чего дербаните, гражданка? Кого надобно?

– Мне нужен товарищ Наганов, Максим Егорович, следователь Чрезвычайной Комиссии! – отчеканила Нина, надеясь, что голос её звучит спокойно и ровно. Но её растрёпанный вид и заплаканное лицо явно не внушили солдату доверия.

– А на что он вам? Как доложить? Пошто в такой час-то?

– Доложите – Баулова Антонина Яковлевна! Цыганка Нина с Живодёрки! Он знает! Пожалуйста, поскорей!!!

– Вон как? Ну, обождите... – Парень снова смерил её недоверчивым взглядом, но внутрь впустил и, показав на щелястую лавку возле бюро пропусков, куда-то ушёл. Нина принялась шагами мерить тесную, холодную приёмную, отчаянно жалея, что забыла дома папиросы. Потом застыла у окна, стараясь сквозь ледяную корку рассмотреть пустую улицу. Почему-то казалось, что ждать придётся очень долго, и Нина вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной знакомый голос.

– Доброй ночи, Нина. Что у вас случилось?

Она стремительно развернулась.

Наганов совсем не изменился за те полгода, что они не виделись. На нём, казалось, был даже тот же самый вылинявший френч, и серые холодные глаза так же пристально и внимательно, без всякого удивления смотрели на Нину.

– Хорошо, что я оказался на месте. Уже собирался ухо-

дить... Что случилось? Нина, вы плачете, в чём дело?!

– Максим Егорович, мне нужна... – Нина запнулась. Слезы потекли из глаз, и она едва смогла выговорить: – Максим Егорович, Машенька умирает... Тиф... Это снова тиф...

Минуту спустя по пустым, заснеженным московским улицам летела чёрная машина. За рулём был молодой чекист, который во время дороги то и дело поглядывал через плечо на неподвижно сидящую на заднем сиденье Нину с ребёнком на руках. Рядом с ней сидел Наганов и советовал шофёру:

– Фёдор, в Староконюшенный лучше через Воздвиженку и Арбат. На Остоженке завал, дом старый рухнул... Не волнуйтесь, Нина, мы успеем, всё будет хорошо.

Нина не отвечала, крепко стиснув зубы. Её трясло. Она не могла даже следить, куда они едут, и не узнала тёмной улицы, на которой, поднимая снежную пыль, остановилась машина. В глубине двора виднелся огромный каменный дом. Наганов взял ребёнка из рук Нины, пошёл к подъезду. Выпрыгнув из машины, Нина побежала за ним.

На широкой площадке второго этажа, возле высокой двери с медной табличкой «Профессор П.О.Мережин» их встретил высокий седой человек в старомодном шлафроке, с трудом пристраивающий на носу пенсне. Нина поклонилась ему; седой человек ответил тем же, взглянув вопросительно. Женщина растерянно повернулась к Наганову.

– Здравствуйте, профессор. Простите, что в такой час беспокоили, – вежливо, но твёрдо сказал Наганов. – Право,

если бы не крайняя необходимость... Умирает ребёнок, а в больнице не принимают. Вот его мать говорит, что это тиф.

– Проходите, – коротко сказал профессор. – Извините, товарищ Наганов, но в смотровую в обуви нельзя.

– Разумеется. Нина, я подожду вас здесь.

Она кивнула, кое-как сбрасывая промёрзшие валенки, взяла у Наганова Машу и, едва держась на ногах от внезапно подступившей слабости, пошла вслед за профессором по длинному тёмному коридору большой квартиры.

– С чего вы взяли, что это – тиф? – четверть часа спустя недовольно спросил профессор Мережин, моя руки под струёй тёплой воды. Вода лилась из кувшина, который держала Нина. На металлическом столе горела керосиновая лампа, в её свете видно было спокойное лицо спящей Машеньки.

– Но как же, профессор... Эта сыпь... И сильный жар... – Нина изо всех сил старалась говорить спокойно, но голос срывался, руки постыдно тряслись, и струя воды то и дело лилась мимо белого эмалированного таза. – Утром она жаловалась, что ноют ноги и спина... Она уже болела этим, и всё начиналось так же.

– А если болела, то вы должны были знать, что вторично сыпной тиф случается крайне редко.

– Но что же это тогда, Павел Осипович?!

– Скарлатина, надо полагать. Тоже ничего хорошего, правда... Посмотрите вот сюда. – Мережин подошёл к ку-

шетке, на которой лежала Машенька, принялся осторожно разгибать ручки девочки. – Видите?.. Вот здесь, в складках, сыпь гораздо заметнее. Под коленями так же... И она совсем другого рисунка, нежели при тифе...

– О-о, слава богу... Но... что же мне теперь делать?

– Лучше всего оставить её пока у меня. Я могу, разумеется, распорядиться, чтобы её положили в больницу, но...

– О нет, нет, пожалуйста! – всполошилась Нина. – В больницах только умирать! Или, чтобы вас не беспокоить, я лучше заберу её домой!

– Ни в коем случае! – ворчливо сказал профессор. – Ей и так не на пользу эти ночные разъезды по морозу! Я сделал укол, до завтра проспите спокойно, а наутро начнём серьёзное лечение.

– Она не умрёт, профессор?.. – жалобно спросила Нина.

– Не думаю. По крайней мере сделаю всё возможное... из уважения к товарищу Наганову.

– Позвольте расплатиться с вами... – робко сказала Нина, сунув руку в ридикюль. – Это настоящие бриллианты, кольцо моей матери...

– Вздор, перестаньте! – сердито перебил её Мережин, и Нина испуганно умолкла, сжав в ладони тяжёлый бриллиантовый перстень. Профессор вытер руки полотенцем, внимательно взглянул на неё.

– А вы ведь... кажется, Нина Молдаванская? Певица? Не вас ли я слушал в Петербурге до войны? «Глядя на луч пур-

пурного заката»? «Пара чёрных цыганских глаз»?

– Меня, – вымученно улыбнувшись, подтвердила Нина. – Но моя мама лучше всё это пела.

– Не сказал бы, – возразил Мережин, с интересом поглядывая на Нину. – Хотя и Дарью Ильиничну помню хорошо, ещё по осетровскому ресторану. Где она сейчас?

– Умерла. Уже скоро год. И отец тоже.

– Мои соболезнования, – помолчав, коротко сказал Мережин. Подошёл к кушетке, снова взглянул на девочку. – Что ж, Антонина Яковлевна... Можете ехать домой. Не беспокойтесь за дочку, моя Полина за ней присмотрит хорошо. А утром милости просим, приходите, побудьте с ней. Я, правда, уеду в университет, но Митрия внизу предупрежу, вас пропустят. И, уверяю вас, ничего страшного не произойдёт. Видите, температура уже упала, девочка спокойно спит.

– Спасибо... благодарю вас, Павел Осипович! – Нине отчаянно хотелось остаться здесь, рядом с Машенькой, чтобы дочка не испугалась, проснувшись в чужой квартире. Но попросить об этом ей казалось уже запредельной наглостью. В последний раз пощупав потный, уже едва тёплый лобик дочери, Нина покорно пошла к выходу.

Наганов ждал её на тёмной лестнице, ещё из прихожей Нина увидела огонёк его папиросы. Заметив её, он потушил окурок о стену и быстро подошёл.

– Ну, что же там?

– Это скарлатина... Скарлатина, а не тиф.

– Но ведь это лучше?.. – не очень уверенно предположил Наганов.

– Конечно! Намного! Профессор обещает, что всё будет хорошо, завтра я приеду к ней сюда...

– Что ж, я рад. Пойдёмте. Отвезу вас на Живодёрку.

– Максим Егорович, я вам так благодарна... Извините, что я вот так ворвалась к вам на службу, я не знаю как... – сбивчиво начала была Нина и умолкла, наткнувшись на сдержанную улыбку Наганова.

– Бросьте, Нина. Рад был помочь. – Он подержал мокрую от растаявшего снега шубу, помогая Нине попасть в рукава. – Идёмте, скоро уже утро.

К дому на Живодёрке машина подъехала, когда небо над Грузинами уже зеленело и на нём чётко обозначились очертания покосившихся домишек. Нина всю дорогу готовилась хотя бы при прощании поблагодарить Наганова по-человечески, но он лишь пожал ей руку, вскочил в машину, и та поползла прочь.

Когда-то имя Нины Молдаванской, знаменитой цыганской певицы, гремело по всему Петербургу, и фотография её хранилась в кармане чуть не каждого офицера на фронтах германской войны. Но всё это сгинуло без следа, «чистая» публика исчезла и из Петербурга, и из Москвы (в которой осталось всего пара ресторанов, где подавали самогон и варёные свиные мослы). Хоровые цыгане перебивались слу-

чайными концертами в казармах, толкотнёй на Конном рынке. Женщины даже вспомнили гадание. Кто мог – пошёл работать на новую власть. Нина, оставшись после революции вдовой с двумя дочерьми, рассчитывала в Москве пристроиться на службу. Но, приехав в родной город, она сразу же попала под следствие, которое вёл Максим Наганов. В доме на Живодёрке был убит её отец. Мать и младшая сестра пропали бесследно. Нина знать ничего не знала об этом, в чём и попыталась уверить следователя. Наганов отпустил её, предупредив, впрочем, что пока ей нельзя уезжать из Москвы. И после целое лето приезжал с визитами в цыганский дом на Живодёрку.

Цыгане радовались, справедливо полагая, что такое знакомство в нынешние времена весьма полезно, и осторожно спрашивали Нину – не нравится ли ей товарищ чекист? Нина огрызалась, молчала. Этот сероглазый, молчаливый человек пугал её до дрожи, и она честно признавалась Мишке Скворечико, что уже готова бежать прочь из Москвы к таборным родственникам, лишь бы избавиться от этих посещений.

«А ты, пхэнори², выходи за меня замуж», – по-деловому предложил ей тогда Мишка. – К мужней цыганке товарищ чекист, глядишь, и не полезет! Давай вот завтра прямо с утра до ЗАГСа на Садовой добежим и распишемся по новым правилам!»

Как она тогда обрадовалась, дура набитая... Ведь Нага-

² Сестрёнка (цыганск.).

нов действительно не мог знать, что для цыган регистрация в ЗАГСе не значила ровным счётом ничего. Нина могла расписаться таким образом хоть с собственным братом, оказавшись замужней лишь «по бумагам» и только для гаджен³. Этот фиктивный брак, скорее всего, и был бы заключён на следующее утро, если бы ночью за Ниной не пришла машина и два конвоира не отвезли её, перепуганную насмерть, на квартиру к следователю.

Вспомнив сейчас ту жуткую ночь, когда она ехала по тёмной, пустой Москве, сидя между двумя красноармейцами, Нина невольно передёрнула плечами. Она чуть не умерла тогда от страха, хотя и не знала за собой никакой вины. Наганов ждал её. И объяснился ей в любви коротко и немногословно.

Нина тогда, кое-как собравшись с силами, отказалась от нагановского предложения руки и сердца и без особой надежды попросила оставить её в покое. Наганов обещал ей это и сдержал своё обещание: визиты чекиста на Живодёрку прекратились. Таким образом, фиктивный брак был уже не нужен, Нина вздохнула с облегчением и была очень удивлена, когда Мишка Скворечико напомнил ей о задуманной аванюре.

Это случилось в тёплый и ясный сентябрьский вечер. За окном цыганского дома старая ветла роняла в палисадник пожелтевшие листья, негромко, словно задумавшись, шелестела; знаменитая лужа под ней величиной с небольшой пруд

³ Для нецыган (цыганск.).

вся была облеплена палой листвой. В гостиной Большого дома собралось много молодёжи, все шумели, дурачились, распевали под гитару и безнадёжно расстроенный рояль. Кто-то притащил сипатый граммофон и старые, чудом уцелевшие пластинки. Нина, перебрав их, вытащила Вертинского, и вскоре по комнате поплыл знакомый надтреснутый, картонный голос:

Мадам, уже падают листья,
И осень в смертельном бреду,
Уже виноградные кисти
Желтеют в забытом саду,
Я жду вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном огне!
Когда же вы скажете слово,
Когда вы придёте ко мне?

Мишка Скворечико с улыбкой пригласил её танцевать, и они под весёлые вопли цыган пошли по паркету в ритме танго.

– Вот сейчас я тебя опрокину назад и поцелую! – угрожающе пообещал Мишка.

– А я тебе нос откушу! – парировала Нина. – Как раз побавлю малость, а то ж с избытком... И между прочим, в танго есть такой примерчик – «отказ от поцелуя»! Специально для нахалов вроде тебя придумано. Ну-ка, разверни меня!

Нина с блеском продемонстрировала «отказ от поцелуя»,

скользнув под Мишкиной рукой, сделала несколько изящных «восьмёрочек» и пропустила Мишкин вопрос.

– Что ты говоришь?

– Я спрашиваю: мадам, когда вы придёте ко мне? – передразнил Вергинского Мишка. И, уже не улыбаясь, глядя прямо ей в лицо посерьёзневшими глазами, чуть слышно спросил: – Когда ты замуж за меня выйдешь, Нинка? Обещала ведь. Долго мне ещё дожидаться?

Шутка показалась Нине настолько глупой, что она даже не нашлась что ответить, лишь недоумённо улыбнувшись в ответ.

– Мишка, да ты пьян, что ли?

– Конечно, – по-прежнему не сводя с неё взгляда, со странной улыбкой подтвердил Скворечико. – Как свинья. Не видно разве, сестрёнка?

Танго кончилось, пластинка, зашипев, смолкла, цыгане поставили другую, по комнате поплыла ария Ленского «Куда, куда вы удалились...». Кто-то из музыкантов тут же вздумал подобрать к ней аккорды, и Мишку, как лучшего гитариста, позвали слушать. А Нина, выбежав из гостиной, ещё долго сидела одна на пустой кухне и глядела на пляску жёлтых листьев за окном до тех пор, пока не стемнело. Мыслей было только две: какая же она дура и что теперь делать...

Нина знала Скворечико всю жизнь, с раннего детства. Мишка был из известной хоровой семьи, мать его когда-то была гремящей на всю Москву красавицей плясуньей, по

которой «убивалось» и дворянство, и купечество. Трижды Прасковья уходила из хора к своим поклонникам, трижды возвращалась в бриллиантах и умопомрачительных туалетах, на завистливое шипение цыганок не обращала никакого внимания и только к сорока годам, уже родив троих детей, вышла наконец замуж за своего гитариста. Мишка был её первенцем, рождённым от обедневшего графа, который для выкупа красавицы из цыганского хора продал свою последнюю деревеньку, а после того как душа-Пашенька его бросила, навсегда исчез из Москвы. Поговаривали, что он не то застрелился, не то спился, не то был убит в кабацкой драке.

От отца-графа Мишка унаследовал высокую нескладную фигуру и длинный острый нос, за который он и получил своё прозвище; от матери – огромные чёрные глаза, улыбку – широкую, ясную, открывающую прекрасные зубы, – и неунывающий характер. Сутуловатый, глазастый, длинноносый мальчишка командовал ватагой цыганских детей, был неистощим на выдумки, очень любил рассказывать истории из прочитанных книг – а читал он много, – и возле него всегда крутились благодарные слушатели. Рассказывал Мишка и в самом деле здорово, на разные голоса. Хрипло басил, изображая пушкинского Попа, пищал противным голосом мачехи из сказок, скрипел лесной корягой в роли Бабы-яги и утробно, жутко гудел Вием: «Подымите мне веки! Не вижу!» Впечатлительной Нине после этого не удавалось заснуть до полуночи, и она, боясь лечь в постель, сидела на кухне под

лампой – в компании того же Мишки, забавлявшего её «театром теней». У Скворечико были пальцы прирождённого гитариста – длинные, худые, подвижные. Он изображал на кухонной стене такие жуткие рожи, что Нина жмурилась:

– Ну тебя, Мишка, напугал ещё больше! Покажи теперь смешное, дворника нашего покажи!

Мишка послушно складывал пальцы – и на стене появлялась кряжистая, взъерошенная, шатающаяся фигура в сбитом на затылок картузе: «Ой, конец мой пришёл, помираю... Ой, цыган, дай полтинника на похмель, не губи душу христьянскую... У-у-у, да где ж я этак вчера отдохнул знатно, у-у...»

Нина закатывалась беззвучным смехом, хватаясь за голову, Мишка ухмылялся и тянул из-за лампы растрёпанный том.

– Всё, Нинка, хорошего понемножку, иди спать. Мне до завтра ещё вот это дочитать надо.

– Уроки? Из словесности?

– Какое! Густав Эмар! Завтра вернуть обещал, у нас эта книга в классе нарасхват!

Второй Мишкиной страстью после чтения была гитара, которую цыгане видели в его руках чуть не с рождения. По словам хороших музыкантов, Мишка играл даже лучше своего отчима и мог перебирать струны и брать аккорды часами, так что дом на Живодёрке всегда наполняли звуки «венгерки», «Малярки» или задорных плясовых. Мог Мишка за-

просто сочинить полтора десятка вариаций к какой-нибудь всем известной простенькой песенке, легко подбирал на семиструнке любую пьесу – от «Светит месяц» до арии Татьяны из «Евгения Онегина». Когда двенадцатилетней Нине вздумалось научиться играть на гитаре, Мишка показал ей три аккорда «венгерки», предупредив при этом:

– Только ногти свои режь к чертям, иначе ничего сыграть не сможешь.

– Да у меня же и так короткие!

– А надо, чтоб совсем не было, – безжалостно сказал Мишка, поглядывая на небольшие розовые Нинины ногти. – Иначе никакого толку не будет.

Нина, подумав, послушалась и через месяц уже играла «венгерку», слегка морщась от боли в кончиках пальцев: мозоли были ещё нежные, до непробиваемых, твердокаменных бляшек вроде Мишкиных было пока очень далеко. Впрочем, Скворечико не настаивал:

– Не мучайся, Нинка, гитара всё равно дело мужское. Три часа в хоре тебе с ней не выстоять. Так, перед кавалером поломаться...

– Дураки – и ты, и кавалеры твои! – злилась Нина. Мишка смеялся.

Они часто разговаривали, часто спорили, часто ругались на смех цыганам: «Во, разучённые наши дают – одни и те же книжки читают да ещё и цапаются!» В спорах о прочитанном всегда побеждал Мишка. Нина взахлёб зачитывалась

Вербицкой, повестями Брюсова. Но не умела отстоять своих кумиров, когда противный Мишка, посмеиваясь, называл «Ключи счастья» институтской истерикой, а «Огненного ангела» – пошлой жутью. Стихи Мирры Лохвицкой и вовсе были для него «припадком барыни на вате».

– Ты ничего, совсем ничего не понимаешь! – плача от досады и замахиваясь кулаком, кричала Нина. – Ты идол непробиваемый, тебе только надписи похабные на заборах читать! Ты стихов не чувствуешь, тебе даже Блок не угодил, смеёшься над ним! Над Блоком!!!

– Чего же не смеяться, когда смешно? – Мишка был непоколебимо серьёзен, и только в уголках чёрных сощуренных глаз, доводя Нину до иступления, прыгала усмешка. – Суди сама, сестрёнка:

И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу...

Это же как есть белая горячка у твоего Блока, Нинка! Представляешь себе, выйдешь ты, к примеру, на Москву-реку, а на другом берегу, в камыше, – ОЧИ СИНИЕ! Бездонные! Прямо среди песка – луп-луп на тебя! Цветут! Тьфу, пронеси господи... А в мозгу у тебя... правильно, перья страуса! Прямо вот так, знаешь ли, пучком воткнуты, как петрушка, – и качаются на ветерке! Нинка, от такого ж засы-

пать страшно!

– Болван!!! – взрывалась Нина, запуская в него томиком обожаемого Блока и в слезах выбегая из комнаты. Цыгане переглядывались и пожимали плечами:

– Видали вы, до чего ученье-то людей доводит? Простыми словами уже и говорить не могут! Ну ладно – Мишка, но зачем Якову взбрело своих девок в гимназии учить?.. Кто их замуж теперь возьмёт?

Впрочем, беспокоилась родня зря: Нину сосватала семья питерских цыган, когда ей едва исполнилось шестнадцать. После свадьбы она уехала к мужу и ни разу за восемь лет семейной жизни не пожалела об этом: Ромка её любил. Потом грянула война, революция, снова война, голод, холод, тиф... От тифа умерли и муж, и старший сын. Сама Нина чудом выжила в тифозном бараке, чудом вытянула дочерей и весной двадцатого года вернулась в Москву, в опустевший родительский дом – чтобы узнать, что теперь она сирота.

Той же весной вернулся с фронта и Мишка, которому было уже под тридцать. На войну он ушёл в четырнадцатом году по призыву, побывал в немецком плену, сбежал, оказался в Первой Конной, с которой и воевал до двадцатого года. Нине он показался постаревшим, каким-то усталым, чёрную смоль густых волос заплели белые нити, но улыбка Мишкина была прежней – широкой и ясной.

Вернувшись, Скворечико сразу наполнил жизнь бывшего осетровского хора кипучей деятельностью. Он организовыв-

вал для цыган какие-то концерты в военных частях Москвы, пользуясь своим положением красноармейца и грамотностью, выбивал пайки, ордера на дрова и мануфактуру. В конце двадцатого года он каким-то чудом узнал о грядущем уплотнении на Живодёрке. По его совету хоровые цыгане пригласили к себе пожить всю родню, какая уцелела в Москве. Нагрянули ещё и таборные с их голыми младенцами и оборванными босыми гадалками. Явившаяся жилкомиссия обнаружила в доме четыре десятка голодных и грязных цыган, которые грустно сидели в невыносимо задымлённых комнатах. Дым организовали, затопив на кухне, по совету Скворечико, четыре пустых самовара.

Разумеется, ни о каком уплотнении речи не пошло, и цыгане Большого дома вздохнули спокойно: «Молодец Скворечико! Хоть какая-то польза от его учения вышла!»

Нина искренне рада была встретиться со старым другом, уцелевшим на войне. Был рад, казалось, и Мишка. Они жили теперь в одном доме (дом Мишкиной матери, что стоял когда-то по соседству, сгорел во время уличных беспорядков в семнадцатом году), виделись каждый день. Нине и в голову не могло прийти, что Скворечико, с которым они детьми играли вместе, которого она считала почти братом, может посягнуть на неё... «Мы же столько лет с ним не виделись! – в отчаянии думала Нина. – Что это ему в голову взбрело? Нет, мне показалось, показалось... Дурака он валял сегодня, как всегда, вот и всё! Может, и вправду выпил... С какого пере-

пугу ему на мне жениться?» К полуночи она почти успокоила себя этими мыслями и заснула крепко, без сновидений.

Мишка больше не сказал ей ни слова о женитьбе, и, когда месяц спустя среди цыган пронеслась новость о том, что Скворечико женится на Таньке Трофимовой, Нина окончательно уверилась, что тот разговор во время танго был просто неудачной шуткой. Танька бегала счастливая. С её хитрого личика, за которое она и получила своё прозвище Лиска, не сходила улыбка. Танькин отец, дядя Петя, с головой влез в долги, но клялся цыганам, что свадьба будет царской.

Время пошло дальше. Осень сменилась зимой, замёрзла лужа посреди Живодёрки, между старенькими домишками замелькали белые мухи. Мишка с женой жили, казалось, неплохо: во всяком случае, шумных скандалов с привлечением родственников и соседей не устраивали. Танька, прежде первая на Живодёрке скандалистка и крикунья, стала, по дружным уверениям цыган, даже поспокойней, а после Рождества стала заметна и её беременность. Нина порадовалась за Мишку, но долго об этом всё не думала. Голову занимали куда более насущные мысли о том, как пережить зиму, где достать дров, керосина, как бы устроиться на службу... Редкие концерты в рабочих клубах почти не приносили дохода, и Нина работала теперь машинисткой при строительной конторе на Таганке. Должность была грошовая, но зарплату выдавали крупной и мукой, а иногда и солониной. Светка, её старшая дочь, пошла в школу и училась неплохо.

От насмешек цыганок, уверенных, что учить девчонок только портить, Нина решительно отмахивалась: «Дуры вы, дуры! Слепли, не видите, что никому песни наши не нужны теперь? В хорах уже не прокормиться, так пусть хоть дети выучатся!»

...Наутро, едва проснувшись, Нина сразу же помчалась по сугробам в Староконюшенный переулок. Профессора не оказалось дома, и Нину впустила немолодая горничная с хмурым лицом. Машенька встретила мать радостным щебетом, ей было гораздо лучше, и, посидев с ней немного, успокоенная Нина отправилась домой. Настроение поднялось настолько, что, вернувшись, она сразу же расстелила на круглом столе в гостиной своё старое бархатное платье, из которого давным-давно собиралась сделать жакет.

Нина уже заканчивала отпаривать лиф от юбки, когда из верхней комнаты к ней, кутаясь в потёртую шаль, спустилась жена Скворечико. Танькино лицо было бледным, измученным.

– Ты что, не выспалась совсем? – взглянув на неё и откладывая ножницы, удивилась Нина. – А я тебе говорила, нечего было вчера меня дожидаться! Коль устала – так иди ложись... Да что с тобой такое?

– Я тебя всё спросить хочу. Ты только ничего плохого не подумай, спаси бог... – Танька сидела прямо, словно скалку проглотила, смотрела за окно. – Только вот наши говорят,

что ты в Питер обратно собираешься...

– Кто это такие глупости говорит? – нахмурившись, пожала плечами Нина. – К кому я туда поеду? У меня там ни родни, ни дома... Здесь хоть жить есть где. Нет, я отсюда не поеду... А почему ты спрашиваешь?

– Жалко, – без улыбки сказала Танька, и Нина вдруг заметила, что та смотрит на неё в упор со странным выражением не то ненависти, не то горечи.

– Нинка, я ведь тебя на пять лет моложе, так?

– На три, – машинально поправила Нина, с изумлением глядя на неё.

– И вроде б я тебя ничем не хуже? Не урод, не дура?

С последним Нина могла бы поспорить, но сейчас, глядя в бледное, решительное Танькино лицо, согласно кивнула.

– Ну, и чего же он, скотина, тогда?.. – Танька не закончила, тихо и тоскливо выругалась, снова отвернулась к окну.

– Он... Мишка... Тебе сказал что-то? – медленно спросила Нина. Помолчав, уточнила: – Спьяну, что ли, чего сболтнул?

– Нет... – вяло отмахнулась Танька. – Он не скажет. Не такой он, сама знаешь. Только я же не слепая, я всё и так вижу. Вижу, как он на тебя глядит. И всю жизнь глядел.

– Боже мой! – жёстко усмехнулась Нина. – Все всё видят, опять одна я не вижу ничего... Ну, так что же ты от меня хочешь? Я тебе могу дочерьми своими забожиться, что у меня с твоим мужиком не было ничего. Никогда в жизни не было.

Танька невесело усмехнулась.

– Да коли б было, милая моя, я бы с тобой тут разговорчиков не вела. Горло бы тебе, проклятой, перегрызла, и всех дел... Ещё при первом муже выучилась. Помнишь, каким Серёжка кобелём был? Я от него затяжелеть не могла, так он, собачий сын, на каждую юбку лез, лишь бы все кругом видели, что это я пустоцвет...

Усмехнулась и Нина.

– Помню. Да прости ты его, дурака, помер ведь давно, что уж теперь... Да и Мишка не из таких. Что ты себе, глупая, голову забиваешь? Глядит не глядит... Чепуха какая-то. Ты же от него в тяжести. Женился-то он на тебе.

– Женился... – скривилась Танька. – Тебе назло женился.

– Да с чего ты взяла-то?! – вскинулась Нина.

Танька молчала. Чуть погодя глухо сказала:

– Не поверишь, я ему уже все мозги прогрызла: поедем да поедем отсюда. У меня в Туле родни полно, две тётки кровные, сестра замужняя. Голодуха и там, конечно, но всё ж не хуже, чем здесь. В деревнях харчами ещё разжиться можно. Едем, говорю, горя знать не будем, а он... молчит только. Плакать пробовала, в петлю, говорю, влезу...

– Тьфу, стоеросина! – с сердцем сплюнула Нина. – Ничего умнее не выдумала?!

– Вот на тебя бы я посмотрела, милая моя, – с горечью сказала Танька, поворачивая к Нине бледное лицо. – Коли б твой мужик другую любил, а с тобой иногда неделями и

слова бы не сказал! С тобой-то по два часа языком чесать может! И такие слова говорить, что я и во сне не увижу!

– Чушь какая! – взвилась Нина, с ужасом вспоминая, что пару дней назад за общим столом они с Мишкой действительно сцепились по поводу стихов Есенина, которые Нина очень любила, а Скворечико называл пьяными бабьими соплями. – Да мало ли с кем я языком чешу, ты всех их ко мне в полюбовники запишешь? Вот так и дала бы тебе в морду, кабы ты тяжёлая не была!

– И я б тебе дала, коли б польза оказалась, – с ненавистью сообщила Танька. – Вот чего ты за него не пошла, скажи мне, холера, что?! – заголосила она вдруг так, что Нина машинально оглянулась: не слышит ли кто. – Чем он тебе негоден был?! Где ты лучше нашла б, лахудра стриженная?! И какого такого царя небесного ты ждёшь? Уж так я надеялась, что ты за чекиста выпрыгнешь, ведь всем хорошо бы оказалось, – нет!!! Не гош нашей богородице оказался! Мишка от тебя ошалел – ты и ему оглобли завернула! Кого хочешь-то, скажи мне, брильянтовая моя?! Я тебе его на верёвке приведу и своими руками в стойло поставлю!!!

Нина невольно усмехнулась, но подавила смешок, взглянув в искажённое отчаянием лицо Таньки. Вздохнув, искренне сказала:

– Дура ты, дура... Никого я не хочу. Ещё года нет, как мой Ромка помер, а ты уж хочешь меня снова замуж засунуть. Да пропади они все пропадом, мужики эти, мне и без них

хорошо. Девочек бы вот только на ноги поднять, и больше ни о чём Бога не прошу. Вот тебе крест истинный.

Танька с сердцем сплюнула, отвернулась. Молчала и Нина. За окном совсем стемнело, начал падать снег. Нужно было зажечь лампу, но обе цыганки сидели неподвижно, глядя, как сквозят за окном вечерние тени.

– Уедешь, может? – безнадёжно, тихо спросила Танька. – Прости, что говорю так... Дом-то этот твой, отца твоего, и деда, и прадеда... Мы-то с Мишкой здесь Христа ради обитаем.

– Что за глу... – начала было Нина, но Танька только отмахнулась.

– Да замолчи ты... Мне и так мало радости перед тобой позориться. Но чего уж тут, коли сама виновата... Я ведь знала, видела, что Мишка за тобой пропадает. Знала, что он и на мне только со злости женится... Послать его надо было к чёртовой матери, а я, дурища... Подумала – ну чем я тебя-то хуже? Учёности, конечно, твоей у меня в помине нету, ну так бабам от грамоты неприятность одна. И солистка была познаменитее, чем ты, и господа у меня в ногах лежали, и фигура имелась... И люблю его! Всегда любила! Ещё за кобелём своим Серёжкой замужем была, а на Скворечико смотрела и думала: вот коль был бы этот цыган мой – каждый день богу свечку бы ставила! И пусть хоть пьёт, хоть бьёт, хоть гуляет! Как он меня замуж позвал – от радости глаза застило... Понадеялась, что я его так любить буду, что он о

тебе думать забудет! Дура несчастная... – Танька низко опустила голову. Нина осторожно обняла её за плечи. Та, глубоко, горько вздохнув, не отстранилась.

– Танька, но куда мне ехать? – растерянно спросила Нина. – Видит бог, я тебе с Мишкой только счастья хочу... Я же не виновата, что вот так всё... Только куда же я поеду?

Танька только пожалала плечами. Через минуту она поднялась и, взглянув прямо на Нину заплаканными, но уже сухими глазами, хрипло сказала:

– Забудь, пхэнори. И в самом деле... Что тут сделаешь? Будем уж жить, как жили... Только если я, спаси бог, увижу, что ты с моим мужиком... – Узкие глаза Лиски холодно, зло блеснули. – Клянусь, я тебя убью. Своими руками напололам разорву. И пусть потом твой чекист хоть расстреливает.

Нина ничего не сказала. Танька уже ушла, её шаги давно стихли на скрипучей лестнице, а Нина всё сидела за столом и, не замечая бегущих по лицу слёз, думала о том, куда ей теперь деваться. Отца с матерью больше нет, младшая сестра – за морем... Уехать к дяде в Смоленск?.. Нина знала, что там, в огромной семье, её примут с радостью и без лишних вопросов. В конце концов, вся таборная родня неизменно приезжала к дяде Григорию зимовать.

«Вот-вот, там же сейчас яблоку негде упасть... – горестно размышляла Нина. – Таборным, конечно, всё равно, они перин с подушками на пол накидают, разлягутся сверху и Богу спасибо скажут, что не на улице зимуют! А я куда денусь с

девочками? Светка учиться пошла, ей читать нравится, гимнастикой заниматься ходит – где я ей там это всё возьму? Да и дяде сейчас тяжело... Лошадей ещё в войну отобрали, торговать давно нечем. Тётя Ира с невестками гадать ходит, тем и кормятся, а если ещё я им на шею свалюсь?.. Нет, в Смоленск только в самом крайнем случае, там и без нас ртов полно, как дядя нас всех потянет?..» Но, думая так, Нина лукавила. Ей попросту не хотелось жить бок о бок с таборной роднёй, к которой артистка Молдаванская относилась со смесью жалости и презрения. С малых лет перед глазами у Нины были пёстрые, запалённые лохмотья кочевых цыганок – их прокопчённые весёлые лица, золотые серьги и чёрные ноги с окаменевшими подошвами. Она знала, что таборные девчонки со спутанными косами могут целый день идти под палящим солнцем или проливным дождём. Она знала, что особым шиком было у них попрошайничать зимой босыми. Ей самой было зябко от одной мысли, что цыганята бегают голышом весь год напролёт.

Чем же так хороша для этих людей бродячая жизнь? Нина не понимала.

Зачем таборные цыганки – неграмотные, дикие – безропотно терпят кнут мужа? Почему с детских лет и до смерти таскаются по деревням с картами? Нину коробило от того, что кому-то не стыдно тянуть за подаянием руку, унизанную тяжёлыми золотыми кольцами. Позорище какое! И поехать сейчас туда, к ним?.. Толкаться на кухне с цыганками, слу-

шать их бесконечные разговоры о родне, чужих свадьбах и крестинах, о том, где что можно добыть... «Они всю жизнь так живут, им другого не надо, им хорошо так – а я?.. Говорить мне с ними не о чем, они будут обижаться, считать, что я задираю нос... И ведь правы будут! А девочкам моим как там жить? Это здесь, в Москве, цыгане учатся – а там их только на смех будут поднимать, всю охоту отобьют. А куда сейчас без учёбы? Кабы я пять лет в гимназии не отсидела, где бы я сейчас службу нашла? Как все наши, торчала бы дома голодная да по прежним золотым денёчкам вздыхала... Нет, в Смоленск нельзя. Может, просто переехать куда-нибудь? Но как? И к кому? Разговоры пойдут, ещё цыгане подумают что-нибудь, ведь просто так из собственного дома не бегут... Господи, что же мне делать?! Тьфу, Мишка, поганец, наломал дров, выкручивай теперь мозги из-за него! Думай, куда из собственного дома сбежать! Вздумал жениться невесть зачем, и кому теперь хорошо?!» И, мучаясь этими мыслями, Нина знала: ничего не попишешь, всё равно придётся уезжать.

Цыгане с Живодёрки, узнав о том, что Нина собирается перебираться в Смоленск, к родне, ничуть не удивились: «Понятно, при дядьке кровном лучше! Поди-ка поживи в доме, где отца убили! Правильно, Нинка, решила – поезжай! Коли счастливая – и в Смоленске хлеб найдёшь!» Нина не знала, то ли смеяться ей, то ли плакать: никто не собирался удерживать её в доме, где она выросла и в котором никто

больше её не ждал. Мишка тоже не сказал ей ни слова, хотя Нина то и дело ловила на себе его взгляд: тревожный, напряжённый. Но стоило Нине встретиться с ним глазами, как Скворечико отворачивался, и ни одного слова между ними так и не было сказано.

До её отъезда оставались считанные дни, когда Нину пригласили на крестины цыгане с Таганки. Пригласили, разумеется, не одну, а со всей Живодёркой, но Нина в последнее время сильно уставала от шума, громких разговоров, смеха и музыки. И, когда веселье было в самом разгаре, она потихоньку отыскала в сенях свою шубу и выскользнула за дверь.

Стоял тихий, морозный вечер, снег отчётливо хрустел под валенками, в чёрном небе ровно горели ледяные февральские звёзды. Деревья стояли в инее, а когда над крышами медленно всплыла луна, стало совсем светло. Нина медленно шла по пустой улице, стараясь не приближаться к чёрным норам подворотен, в которых время от времени наблюдалось подозрительное копошение. Замоскворечье она миновала без происшествий, на мосту её тоже никто не задержал. В конце Тверской, возле поворота на Садовую, светилось яркое пятно: там отогревались у огня замёрзшие беспризорники. Нина невольно замедлила шаг. Проходить мимо оборванной ватаги мальчишек было опасно. В лучшем случае вслед одинокой путнице пустили бы сальную шутку, а в худшем – сняли бы облысевший каракулевый сак. Ежась от забравшегося под шубейку холода, Нина торопливо сооб-

ражала: не свернуть ли на Тверскую-Ямскую, чтобы сделать крюк и вернуться домой через Большую Грузинку.

Раздумья её прервало чихание мотора за спиной. Испуганно обернувшись, Нина увидела, что прямо за ней следует чёрный автомобиль. Когда она остановилась, автомобиль остановился тоже, и из него вышел Максим Наганов. Длинная тень, вытянувшись по снегу в лунном свете, упала прямо на валенки Нины.

– Добрый вечер... – растерянно прошептала она.

– Нина, вы с ума сошли, – не ответив на приветствие, сухо сказал он. – Почему вы идёте по городу одна в такой час?

– Потому что я возвращаюсь из гостей, – пожала плечами Нина. Первое, что пришло ей в голову, – какое счастье, что теперь можно спокойно пройти мимо костра беспризорников...

– Вас некому было проводить? – нахмурился он. – Ваши цыгане не понимают, что в Москве по ночам неспокойно?

– Я вовсе не хотела, чтобы меня провожали, – резко ответила Нина, обиженная этим «ваши цыгане». – Люди ещё веселятся, а у меня разболелась голова, и я ушла незаметно. Вот и всё.

– Как ваша Маша себя чувствует?

– Спасибо... замечательно. Совсем здорова. Профессор Мережин – гений... Я вам очень благодарна. А вы здесь по службе?

Наганов, не ответив, пошёл рядом с ней. Осторожно ско-

сив глаза, Нина заметила, что машина, скрипнув колёсами по снегу, тронулась следом.

Некоторое время они шли молча. Наганов, казалось, не собирался начинать разговор и даже не поворачивался к Нине, поглядывая вперёд, на пятно приближающегося огня. Через несколько шагов он даже достал папиросы. Нина, которая тоже была бы не прочь сейчас закурить и немного согреться, всё же не рискнула попросить одну. Как возобновить светскую беседу, она не знала. Впрочем, Наганов заговорил первым:

– Нина, не подумайте, что я хочу лезть не в своё дело... – Он умолк, затягиваясь папиросой, и красный огонёк на миг осветил его лицо. – Но Москва ведь слухами полнится. Вы хотите уехать?

– Как вы могли об этом узнать? – помолчав, спросила она.

– Так вы уезжаете? – Наганов остановился, и Нина вынуждена была остановиться тоже. Серые холодные глаза посмотрели на неё в упор, и Нина почувствовала страх – тот страх, который, казалось, уже давно был забыт.

– Да. Но я не понимаю, какое...

– Почему? – Она молчала, и Наганов, бросив в снег папиросу, шагнул прямо к ней. – Нина, почему вы уезжаете из Москвы?

– Потому что мне нечего здесь делать, Максим Егорович. – Нина невольно сделала шаг назад, и он, заметив это, сразу же остановился. – Здесь у меня никого не осталось, а

в Смоленске есть дядя... другие родственники...

– Родственников, кажется, у вас достаточно и здесь. Вы же сами мне рассказывали, что вы московская цыганка.

– Да, но... – Нина в замешательстве умолкла, как и прежде, совершенно теряясь под этим внимательным взглядом. Некоторое время Наганов продолжал смотреть на неё, а она, словно околдованная, не могла произнести ни слова. А вокруг стояла синяя, морозная, полная лунного света тишина.

– Вы всё ещё боитесь меня? – наконец поинтересовался Наганов. – Я ведь, кажется, держал своё слово и возле вас уже полгода не показывался. Месяц назад вы сами меня нашли. И я понимаю почему. Вам есть в чём меня упрекнуть?

– Что вы... Нет, совсем нет... Напротив... Без вас бы Маша... – Нина смешалась.

Наганов нахмурился. Отрывисто сказал:

– Нина, скажите мне как есть, почему вы уезжаете из города, – и, клянусь, я к вам больше не подойду. Что-то семейное, личное? То, что меня не касается?

Нина беспомощно вздохнула. Казалось бы, проще всего на свете было бы сейчас сказать, что её жизнь действительно его не касается, что она не обязана ему отчётом и что до дома, спасибо, она преспокойно доберётся сама... Но заговорить подобным тоном с Нагановым ей казалось невыносимым. Впрочем, его следующий вопрос был ещё хуже:

– Что плохого я вам сделал, что вы так трясётесь при каж-

дой нашей встрече?

– Максим Егорович, вы всё знаете сами, – кое-как взяла себя в руки Нина. – Я не понимаю, отчего вы сейчас настаиваете...

– Оттого, что, если вы уедете в Смоленск, я буду вынужден просить перевода туда же.

– Да вас начальство не отпустит! – попыталась пошутить Нина.

– Вот и я того же боюсь, – без улыбки сознался Наганов. – Потому и спрашиваю вас – что случилось? И не могу ли я сделать что-то... чтобы вы захотели остаться?

– Максим Егорович, это смешно, – закрыв глаза, глухо сказала Нина. – Кто я вам, чтобы я пользовалась вашими услугами?

– Вы хорошо знаете, КТО вы мне, – негромко заметил он.

– Положим, – тяжело вздохнула Нина. – Но тут, я думаю, вы не сможете мне помочь. Это действительно семейное дело. Я не могу больше оставаться в своём доме. Просто потому, что там убили отца. Мне тяжело каждый день проходить через эту комнату. Цыганки наши все паркетины с кровью выломали... И обои отодрали... Но я же вижу, помню... Я не могу больше жить в этом доме, вот и всё. Эта причина вас устроит, товарищ Наганов?

– Только это? И всё? – нахмурился он.

– Этого мало? – пожалла плечами Нина.

– Но зачем же из города уезжать? Переезжайте в другой

дом.

– Каким же образом? – ядовито поинтересовалась она. – В Москве сейчас возможно найти квартиру? Хотя бы комнату? После этих ваших... уплотнений? Даже если...

– Что, если я найду для вас комнату? – перебил её Наганов. Изумлённая Нина не сразу нашлась что возразить. Затем кое-как выговорила:

– Максим Егорович, мне бы не хотелось... Что подумают люди?..

– Пусть думают что хотят! – вдруг взорвался он. – Наплевать мне, поймите, что подумают эти ваши цыгане, если им больше нечем забить себе мозги! Я не хочу, чтобы вы уезжали из Москвы! Вам нечего делать в Смоленске! Вы... вы же артистка!

– Бросьте. Кому я сейчас нужна?

– Мне, – коротко сказал Наганов. – Нина, вы никуда не поедете.

– Но с какой же стати... – начала было Нина и умолкла, понимая, что не может больше возражать этому человеку, который каждый раз с такой лёгкостью парализовал её волю. В молчании они прошли мимо окружённого беспризорниками костра. Оборванные тени предусмотрительно отодвинулись в подворотню. Позади осталась пустая, чёрная, без единого фонаря Садовая, впереди замелькали низенькие домики Живодёрки. Возле покосившейся калитки Большого дома Нина остановилась.

– Что ж, спасибо, что проводили, Максим Егорович. Спокойной ночи. – Она хотела сказать это как можно безразличнее, но голос вдруг задрожал. Наганов, впрочем, понял её смятение по-своему.

– Чёрт знает что с головой творится, – с досадой сказал он, оборачиваясь на автомобиль. – Мне надо было просто довести вас до дома. А так вы совсем замёрзли...

– Ничего. – Нина невольно передёрнула плечами, вспомнив, как полгода назад её везли в такой же машине ночью, в дождь, под конвоем. – Я бы всё равно никогда не села бы в неё... по доброй воле.

Наганов внимательно посмотрел на неё, ничего не сказал. Нина, подумав, протянула ему руку. Он сжал её в ладонях, и Нина удивилась: какие у него, оказывается, горячие руки...

– Вы совсем замёрзли, – повторил он. – Идите скорее домой. И прошу вас, подождите несколько дней. Я попробую что-нибудь сделать. Обещайте, что не сбежите. Я... я всё равно знаю, где вас искать.

Нина невольно улыбнулась мальчишеской интонации последней фразы. И не смогла удержаться:

– Максим Егорович, я ведь больше не подследственная. И могу уехать не только в Смоленск.

– Всё же повремените пока. Обещайте мне, что подождёте.

Деваться было некуда.

– Хорошо. Считайте, что взяли меня измором, – мрачно

сказала Нина, вытянув наконец пальцы из ладони Наганова. – До свидания.

Он молча наклонил голову, повернулся и, не оглядываясь, пошёл к ожидавшему его автомобилю.

В том, что Наганов сдержит данное слово, Нина ничуть не сомневалась. Так и вышло: три дня спустя во двор въехала подвода, запряжённая рыжим битюгом. Пожилой возница молча помог Нине загрузить узлы, железную кровать и гитару в футляре. Последним она положила на подводу портрет бабки, перецеловалась с ошеломлёнными цыганками и, взяв за руки укутанных дочерей, пошла вслед за подводой со двора.

Комната, которую обещал ей Наганов, оказалась в бывшем доме купцов Петуховых на Солянке. Дом был старым, скрипучим, разохшимся, содрогающимся каждой лестницей. После революции Петуховы бесследно пропали, и крошечные, тесные комнаты домика забили новые жильцы с детьми, старухами, граммофонами, котами, примусами, корытами, смазными сапогами и сапожными колодками. В две комнаты первого этажа, рядом с кухней, вселились Охлопкины – большая и шумная семья рабочего-кустаря, невестки которого скандалили на общей кухне со свекровью, а дети дрались и катались по полу в коридоре. Бывшую столовую занимали две студентки педагогического техникума. В узкой, как пенал, спальне жил лохматый, бровастый поэт Боборцев, похожий больше на ломового извозчика, чем на

литератора, по ночам зычно оравший свои вирши на всю квартиру. Рядом с поэтом обитала прачка Маша, самогонщица и вообще «весёлая баба», у которой часто происходили шумные застолья. А в конце коридора, в парадном зале, расположилась суровая семья бывших крестьян Бабаниных, к которым постоянно приезжали деревенские родственники, о визите коих можно было догадаться по запаху прелых лаптей и навоза. В самой дальней, маленькой комнатке, прежде принадлежавшей петуховской горничной, ютилась Ида Карловна Штюмер – высокая старуха «из бывших» с ироническим изломом выщипанных бровей и монументальным носом. Она царственно донашивала горжетку из облезлой лисы, дымила папиросой и брезгливо говорила пьяному Охлопкину: «Беспрецедентная вы свинья, мой дорогой, опять давеча заблевали весь ватерклозет!» Охлопкины страстно ненавидели «графеню», но выселить её не могли: Штюмер давала уроки фортепианной игры, и в её ученицах числились дочери одного из наркомов. Вся эта публика зажила бурной коммуной, ругаясь на огромной кухне, выпивая после работы, таская друг у друга дрова и антрацит, отхлёбывая по ночам из чужих кастрюль и сливая керосин из примусов, табунящихся на общей плите.

Нине в этом курятнике досталась довольно большая и светлая комната с изразцовой печью и двумя окнами, выходящими во внутренний тихий двор. Комната была ещё пуста, стены топорщились вбитыми неведь зачем гвоздями, посе-

редине высилась гора из узлов. Последней втащили железную кровать, после чего пожилой солдат вручил Нине ордер на вселение, посоветовал сразу же спуститься с бумагами в домком, козырнул и отбыл.

Председателя домкома не было на месте, но секретарь, товарищ Бершлис, меланхоличный еврей в потёртом пальто, видимо, был предупреждён о новой жиличке. Он без всякого удивления, бегло просмотрел документы и сощурился на Нину поверх старых очков.

– Гражданка Баулова – артистка?

– Бывшая, – напомнила Нина. – Ныне – машинистка «Нарстроя».

– Ну, бросьте, это ненадолго... Я вас слушал ещё в Питере незадолго до грандиозных событий... Если это, конечно, были вы. Что-то мне говорит, что артисты Советской власти ещё понадобятся. Если не уже... Товарищи чекисты очень просили за вас, и мы постарались, хотя со свободной жилплощадью такой швах, что грустно рассказывать красивой женщине...

– Я понимаю, – сухо сказала Нина, и, усмотрев что-то в выражении её лица, Бершлис убрал с лица улыбку.

– Оставляйте ваш документ, пригодится... Идите, устраивайтесь. Народ у нас боевой, так что и вы не теряйтесь. Только без членовредительства! А то третьего дня мадам Штюмер влепила товарищу Охлопкину поленом по голове! Он, конечно, совершенно напрасно плюнул в её рояль, мадам

можно понять... Но всё равно глупо делать такие вещи при её происхождении! Ежели что – обращайтесь, всегда буду рад помочь, за вас просили такие люди, такие люди...

– Я постараюсь. Спасибо, товарищ Бершлис. – Нина поспешила уйти, тем более что в открытую форточку со стороны дома давно уже слышались какие-то подозрительные звуки.

В коридоре «петуховки» тем временем гремела очередная битва за справедливость. Выбежавшие из комнат жильцы стояли вдоль стен, возбуждённо переговариваясь. Громко редела Машенька, сидящая у стены и сжимавшая своего мишку, из живота которого торчали серые клочья ваты, а по полу катался отчаянно визжащий клубок из младшего Охлопкина и Светки. Нина вбежала как раз в ту минуту, когда коридор содрогнулся от истошного вопля, и Володька Охлопкин кубарем откатился под ноги матери, завывая и зажимая ладонью плечо.

– Укусила, паскуда! У-у-у...

– Светка, что тут?.. – тихо спросила Нина, поднимая с пола взъерошенную дочь. Светка, содрогаясь от ярости и кидая бешеные взгляды в сторону Охлопкиных, начала рассказывать.

Оставшись одни, сёстры Бауловы вышли на разведку в общий коридор и сразу же наткнулись на десятилетнего Володьку, мастеращего из обломка железной трубки и двух подшипников паровоз. Увидев новых соседок, Володька

бросил своё занятие, подошёл, цыкнул зубом и, непринуждённо взяв из рук растерявшейся Машеньки старого плюшевого медведя, рванул его за лапу и голову. Из медведя посыпалась вата, Машенька заплакала, Володька заржал – и Светка рванула в атаку.

– Пусть бога благодарит, что не убила гада... Другим разом не пожалею, – по-взрослому цедила Светка сквозь зубы, вытирая кровь в углу губ.

– Да что ж это такое, люди добрые, кого это к нам домком встромяет на поселение! – вдруг раздался пронзительный визг. Нина повернулась и встретила взглядом с мамашей Охлопкиной, выскочившей на шум из ванной с ещё красными, мокрыми, покрытыми хлопьями пены руками.

– Полюбуйтесь, православ... граждане, что это за цаца такая к нам впёрлася, по какой такой бумаге! Втроём в огромную горницу влезла, узлами своими раскорячилась, кровать у ей железная, а у меня сын с невесткою под столом спят... Да ещё и нарушает тут! Ишь поналезла со своими оглодками, жидовка бессовестная, думает, управы на неё не будет! Дитятю она мне калечить взялась, да я тебе-е-е... – Охлопкина подскочила к Нине с кулаками... и попятилась, встретив бешеный взгляд сузившихся чёрных глаз.

– Ворота припри, яхонтовая, – очень тихо сказала Нина, шагая вплотную к Охлопкиной. – Я тебе не жидовка, промахнулась ты, черносотенка! Я цыганка кровная! И ты у меня сейчас пожалеешь, что твоя мать вычистку не сделала и

на помойке тебя не оставила подыхать! И если твой сучонок ещё хоть шаг к моим девкам сдела-ет...

Закончить фразу Нина не успела: Охлопкина с невероятной скоростью кинулась обратно в ванную и захлопнула за собой дверь. Тут же оттуда донёлся отчаянный грохот, матерный визг, и из-под двери потекла широкая, мыльная струя воды.

– Тю... Корыто навернула! – присвистнул поэт Богоборцев, поднимая ногу в огромном валенке и пропуская под ней серый пузырчатый ручеёк, помчавшийся к дверям. – Однако лихо вы, товарищ цыганка! Знакомиться-то будем? – Он протянул ещё не остывшей Нине огромную лапищу. – Я – Иван, а это – Лида и Суламифь, они из педагогического... Володька, да не верещи ты, сам виноват! Не по-пролетарски, брат, с девчонками связываться! А вы действительно цыганка и артистка? Вам, может, помочь мебели расставить?

– Спасибо... – Нина перевела дух. – Но мне нечего расставлять. Кроме кровати, ничего нет.

Одна из девушек-студенток, смуглая, некрасивая, с узлом иссиня-чёрных волос, неуверенно покосилась на подругу и предложила:

– У нас в комнате стоит комод старых хозяев... Нам он совсем ни к чему, только место занимает, а выбрасывать всё же жалко. Хотите, перенесём к вам? У вас, я видела, столько книг... Да, Лида? Отдаём?

– Ой, да конечно! – бодро кивнула Лида. – Избавимся на-

конец-то от этого шифанера! Хорошо, что не сожгли на дрова! И вообще, поможем вам! Ванька, что ты встал, иди тащи комод! Архип Пахомыч, поможете? На ноги себе только не сбросьте! Детка, ты не плачь, Сула наша хорошо шить умеет, она твоего мишку заштопает вмиг! Ванька, Ванька, что ж ты, лишенец, делаешь, кого ты на пол кладёшь, это же профессор Ушинский!!! Гражданка, вам не нужен портрет? Он у нас всё время падает, когда Ванька стихи читает и по стенке кулачищем бьёт!

Растерянная Нина и опомниться не успела, как в её комнату был втащен огромный, красного дерева, с витыми колонками и резными дверцами петуховский комод. На стене рядом с портретом бабки в вечернем платье повис профессор Ушинский. Студентка Сула, сидя с ногами на кровати, штопала суровой ниткой Машенькиного медведя. Богоборцев решительно волок в комнату портрет Маркса в самодельной, сбитой из плашек раме, а в дверях непринуждённо дымила папиросой Ида Карловна Штюмер.

– Вот как, и вы здесь, моя дорогая... – пристально глядя на Нину, протянула она немного в нос. – Зря, значит, ввали, что Нина Молдавская с белой армией уплыла в Константинополь? Ну-ну, не пугайтесь, Ниночка, я же потихоньку... А с Охлопкиными вы всё же поосторожнее, удивительно склочные твари! А я ведь ещё помню наш общий концерт в «Вилле Родэ» прямо перед войной, да! Вы выступали с хором вашего свёкра, а я аккомпанировала тенору Свицкому... Пом-

нится, я тогда всё думала: отчего эти цыгане совершенно не умеют аккомпанировать? Самый божественный голос можно погубить таким дворовым сопровождением!

– Да отчего же?! – вскинулась Нина. – Мне всегда мой муж покойный играл, он был самым лучшим гитаристом в Новой деревне, и...

– То-то и оно, что в деревне... Хоть и в новой! – съязвила Штюрмер. – Моя дорогая, у меня в мыслях не было оскорбить вашего супруга... Тем более покойного... Но все эти «тим-пам... тим-пам...» на гитаре годятся только для «Светит месяц» в слободском кабаке! А хороший романс и сопровождения требует хорошего... Вы пробовали петь в концертах под рояль? Нет? О, как это жаль... Впрочем, мы об этом ещё поговорим. А сейчас позвольте предложить вам помощь, и... Иван, подите вон с вашим Марксом, что вы его сюда воздвигли?! Впрочем, оставьте... Может, сойдёт за Ниночкиного кочевого родственника, это сейчас очень модно. Ниночка, как вы считаете? А это чей у вас портрет? Бабушка, говорите? Красавица, просто очаровательна! Не её ли я видела в Одессе, на концерте, в самом начале этого века?

Только поздним вечером, когда в маленьком дворике за окном совсем стемнело, Нине удалось как можно вежливей выпроводить соседей, уложить уставших дочерей и остаться наконец одной. Голова гудела, как чугунный рельс, по которому ударили палкой. Сидя у стола и сжав пальцами виски, Нина думала о том, что, конечно, в Большом доме тишины и

в помине не было, но почему-то никакой усталости от цыганского шума и гама она не чувствовала. Здесь же... «Хотя, наверное, привыкну», – подумала она, стараясь не морщиться от рёва гармони из комнаты Охлопкиных, пьяных песнопений самогонщицы Маши, равномерного стука кулака о стену и богоборцевского баса: «И грянем мы во все концы – ура, народ! Народ идёт!»

– ...мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперёд! – повернувшись к стене, громко и мрачно сказала Нина. Из поэтовой комнаты послышалось смущённое кряхтение. Нина невольно улыбнулась, вздохнула и осмотрелась.

Комнату, выглядевшую теперь меньше из-за кровати, петуховского комода и круглого стола на хлипких ножках (снятого с чердака Богоборцевым), освещала зелёная лампа. Старинный шкаф с резными фавнами, пастушками и гроздьями винограда был доверху заставлен книгами и Светкиными учебниками, а на стене в ряд висели три портрета: бабушки Насти, педагога Ушинского и Карла Маркса. Ушинский понравился Нине своей интеллигентностью; от Маркса же она просто не рискнула отказаться, да и обижать поэта не хотелось. «Что ж... Надо как-то жить. Да и на службу отсюда ближе, можно добираться пешком...» Она разделась, легла рядом с дочерьми на кровать. Полежала несколько минут, улыбаясь и думая о том, что, может быть, всё теперь будет хорошо... Что не нужно уже по крайней мере трястись по утрам в обледенелом гремящем трамвае, сжатой со всех сто-

рон как селёдка в бочке. Правда, теперь, после того как она согласилась принять от Наганова помощь, ей не отвертеться от чекиста никаким способом. Не просто так же он добыл ей эту комнату... «Ну и пусть, – обессиленно подумала Нина, обнимая тёплые плечики Маши и притягивая её к себе. – Пусть. Всё равно теперь уже... Всё равно...»

* * *

– Давай, девочка... Давай, девочка! Да гони ты его! Пяткой бей!

– Не могу... Ох, дэвла, я сейчас свалюсь!

– Держись, малость осталось... Что ж ты молчала, что верхом не умеешь?!

– Я думала, умею... Ой, сейчас упаду!

Майская ночь была душной и сухой, чёрной как сажа из-за обложивших небо туч. Весна 1921 года оказалась грозовой. Ясные, спокойные дни можно было перечесть по пальцам. Но сегодня тьма, затянувшая небо над кубанской степью, была совсем уж непроглядной, и казалось, что глухие громовые удары идут не сверху, а из-под почвы, в которую звонко били копыта летящих галопом коней.

Сзади послышался короткий вскрик, удар, и гнедой под Беркуло тотчас остановился. «Свалилась всё-таки, глухая...» Беркуло прыгнул с коня.

– Не убилась?

– Нет... Я сейчас встану...

– Симка, девочка, поднимайся! Нам бы только до станции добраться, пока ваши не налетели... Ведь ищут тебя уже!

– Может, нет... Может, до утра не хватятся... Я, когда убежала...

– Ч-ш-ш...

Короткий звук заставил Симку замереть. Её спутник, невидимый в темноте, чуть слышно выругался, вскочил на ноги:

– Скачут вон! «До утра-а»... Как же! Вставай, садись, полетели!

Симка вскочила на спину лошади, ударила пяткой в её бок. Кобыла, испуганно всхрапнув, взяла с места в карьер. Но, нагоняя её, Беркуло уже отчётливо понимал: не уйти. Девочка еле верхом держится, вот-вот снова свалится... Не успел он подумать – а она уже и упала, покотившись прямо под копыта гнедому, которого Беркуло едва успел осадить, и по Симкиному сдавленному крику было понятно, что ударилась она на этот раз сильно. Спрыгнув на землю, Беркуло бросился к ней:

– Цела? Ноги-руки шевелятся?

– Да... О, дэвла, больно как... – Симка тихо, отрывисто всхлипывала, цепляясь за его руку и силясь подняться. Но ноги не слушались её, и, когда в новом сплехе молнии чётко обозначились фигуры вылетевших на холм всадников, она горестно застонала сквозь зубы: – Ой, дэвла, беги, Беркуло,

беги...

– Ещё чего! – Резким движением Беркуло толкнул девушку себе за спину и замер, расставив ноги. Над ними снова грохотнуло, несколько бледных зигзагов одновременно вспороли небо, осветив степь как днём, и сразу раздалась крики:

– Вот они, здесь! Ванька! Петро! Здесь!

– Беги-и... – в последний раз, уже безнадежно, пробормотала Симка.

Беркуло, не отвечая, усмехнулся в темноте, сунул руку в карман. И стоял так, ощущая спиной горячую грудь прижавшейся девчонки, чувствуя, как море становится по колено, и зная – всё равно они уйдут сегодня. А эти лошатники, кем бы они ни приходились Симке, ему не помеха.

Лошадники – шестеро молодых цыган, заметных в темноте лишь по смутно блестящим белкам глаз, – тем временем спешили и неторопливо – куда им теперь было спешить? – подошли к беглецам. «Дураки... Нет бы в кольцо взять...» – снисходительно подумал Беркуло, придвигаясь ближе к лошадям и прикрывая таким образом себе спину. Вслух же довольно дружелюбно спросил:

– Щавале⁴, вам чего?

– Совесть есть? – угрюмо раздалось в ответ. – Девку дай сюда и проваливай! Симка, поганка, где ты там прячешься?

Она, не ответив, прижалась к Беркуло ещё сильнее.

⁴ Ребята (кишинёвский диалект цыганского языка).

– Да что разговаривать с ним, морэ?! – взорвался из темноты совсем молодой, ещё ломкий голос. – Ещё про совесть спрашивать! Откуда у этих совесть? Он к нам явился невесть откуда – его в таборе как родного приняли! Слова лишнего ни о чём не спросили! По-цыгански, как положено! А он что?! Симка, поди сюда! Отвечай – трогал он тебя?! Силой взял?!

– Не трогал! Я сама с ним пошла! – закричала Симка, и её отчаянный вопль слился с ударом грома и заполошным гомоном сорвавшейся с меловой горы стаи птиц. – Сама пошла и дальше пойду! Езжайте назад, чявалэ, ради бога прошу! Скажите деду, что не догнали!

– Дура! Да ты забыла, кто он?! Нашла с кем связаться, безголовая! – нестройно заорали сразу несколько возмущённых голосов. – Да мать твоя тебя из гроба проклянёт! Это же додуматься надо – с кишинёвцем!⁵ С вором! Да что разговаривать, чявалэ, бей его! И Симку вяжите, не то убежит!

Новый удар потряс небо; испуганно заржали лошади. Дымные, рваные края туч вдруг разошлись над степью, из разрыва столбом упал лунный свет, окатив неверной дымкой похитителя. А тот стоял неподвижно, широко расставив ноги и слегка наклонившись вперёд. Серебристый свет лежал на его спокойном, некрасивом лице, заросшем многодневной тёмной щетиной. Ни страха, ни замешательства не мелькало

⁵ Кишинёвцы – группа бессарабских цыган, появившаяся в России во второй половине XIX века.

в глазах. Голубая искра блестела на стволе «нагана», направленного на цыган.

– Дэвла... – коротко, испуганно вскрикнул один из молодых. Другой, вполголоса чертыхнувшись, попятился.

– Эй, ты... Беркуло... Совсем рехнулся? Что делаешь-то?!

– А я пока ничего не делаю, – довольно добродушно ответил тот. – Вот ещё раз ко мне шагнёшь – тогда, может, и сделаю.

– Да ты не дури! Убери пистоль, что ты как гаджо? Сам виноват, да ещё железкой машет!

– Виноват был бы, если б силой Симку взял. А она со мной сама пошла. – «Наган» в руке Беркуло не опускался. – Женой мне будет. А вы не мешайте. Ступайте, парни. И в таборе скажете, что не догнали.

По кучке цыган пробежал негодующий ропот. Луна скрылась за тучу, и теперь в кромешной темноте слышалось лишь напряжённое дыхание людей и фырканье лошадей.

– Да он, поди, страшает, там и пули-то нет! – Мальчишка лет шестнадцати решительно шагнул было к беглецам. Беркуло не тронулся с места, лишь угрожающе поднял «наган», и молодой цыган, обернувшись на друзей, остановился на полшаге.

– Вы, щявале, человеческий язык понимаете? – негромко спросил Беркуло. – Пистоль мой заряженный! Шестерых не глядя уложу даже впотьмах! Отстаньте по-хорошему, не хочу будущую родню убивать! Симке грех на душу без нужды не

вешайте!

– Врагам нашим такую родню... – зло, уже безнадежно слышалось из темноты. – Что ж ты, сукин сын, совсем благодарности не знаешь?! Да ещё коней угнал!!!

– Коней ваших я бы отпустил, мне они не нужны, – усмехнулся Беркуло. – Симка говорила, что они у вас учёные, в табор бы сами вернулись. А нам с ней поскорее надо было... сами понимаете. Я благодарность помню, и вам за всё спасибо, и деду вашему Илье... А за Симку простите, так уж получилось. Теперь она не ваша.

– Уезжайте, ребята, – сдавленно сказала Симка, прижимаясь к плечу Беркуло. – Не надо крови. Я сама, добром с ним пошла, не надо...

– Чтоб ты сдохла, шваль! – яростно плюнул на землю её брат. – Он же вор, бандит! Почти в отцы тебе годится! Что ты в нём сыскала-то, лубница?!⁶ Всю семью опозорила, будь ты проклята! Едем, чявалэ! Чёрт с ней, сукой! Поживёт с бандитом – взвоят, да поздно окажется! Шунэс⁷, Симка? Вспомнишь мои слова!

Цыгане попрыгали на лошадей и молча метнулись в темноту. Следом за ним помчались освобождённые кони беглецов. Стук копыт ещё был слышен, а его уже заглушал нарастающий шелест: чёрные тучи разродились наконец дождём. Несколько капель упали на разгорячённое, покрытое пылью

⁶ От «лубни» – шляха (цыганск.).

⁷ Слышишь (цыганск.).

лицо Симки, мягко ударили по губам, и девушка жадно слизнула эти капли. Повернувшись, Беркуло увидел, как ярко блестят из темноты белки её глаз и светятся в улыбке зубы.

– Слыхала, что брат твой сказал? – посмеиваясь впотьмах, спросил он. – Назад тебе теперь ходу нет.

– А мне и не нужно! – Симка на миг прижалась мокрой щекой к его плечу. – Идём? До станции далеко ещё?

– Версты две будет. Эх, ведь почти удрали уже! Хорошие у твоего деда лошади! Кабы ты с них ещё кулем не валилась...

– Смеёшься всё! – обиделась Симка. – Будто ваши кишинёвки верхами ездить умеют! А у меня теперь ни одного целого бока нет! О-о-ох... А... ты бы правда выстрелил?

– Зачем? – Беркуло усмехнулся, услышав в её голосе скрытый страх.

– Ну-у... а если бы парни не послушались?

– Послушались же. – Беркуло обнял девушку за плечи, незаметно пряча в карман «наган».

Симка вывернулась. Косясь на его карман, с той же опаской спросила:

– А пуль в этой твоей штуке много?

– Семь... Не устала, девочка? – Цыган поторопился сменить тему. – Ничего, чуть-чуть осталось. На станции мы с тобой в вагон влезем – и до Ростова. А там уж наших найдём. И свадьбу сыграем.

– Твои сердиться не будут, что ты чужую цыганку за себя взял? – вдруг встревоженно спросила Симка. – Не свою, не

кишинёвку?

– Я, девочка, давно сам себе хозяин. А наши не рассердятся, нет. За такую красоту кто ж сердится? И петь так, как ты, у нас никто не умеет. Все обрадуются, что я такое счастье привёз... – Беркуло вдруг взял в ладони её мокрое лицо, повернул к себе, взгляделся пристально, без улыбки. Не отводя взгляда, сказал: – Брат твой, между прочим, правду говорил. Пойдёшь за меня – полжизни будешь из тюрьмы ждать. Наши все такие, вы поэтому кишинёвцев и не любите. Хочешь такого, девочка? Коли нет – возвращайся, пока цела. Я тебя ещё не трогал, честной к деду придёшь.

– Не пойду я никуда, – мрачно сказала Симка. – Не пойду от тебя. Передумал, избавиться захотел – так и скажи!

– Дура! – рассмеялся Беркуло, целуя её в сердито сомкнувшиеся губы. – Идём! Скоро светать будет.

Дождь лил уже в полную силу, мокрый ковыль оббивал босые Симкины ноги, путался под сапогами Беркуло. Звонко чавкала раскисшая пыль, небо содрогалось от грома, вспыхивало молниями. Тревожно кричали птицы. Гроза медленно, словно нехотя, уходила за гору. Тяжёлые тучи редели, превращаясь в стаи длинных облаков, сквозь которые всё чаще проглядывала рыжая ущербная луна, освещавшая мутным светом две бредущие по дороге фигуры – мужскую и девичью.

Братья Симки были правы: кишинёвец со светлыми глаза-

ми появился в таборе русских цыган невесть откуда. В эту зиму табору Ильи Смоляко пришлось остаться в Керчи, занятой Красной армией после ухода в Турцию последних войск барона Врангеля. В Крыму, где большевики разбирались с остатками белых со всей революционной непримиримостью, творилось такое, что цыгане, едва дождавшись первых пёрышек травы, покинули Керчь со всей возможной скоростью. Ехали целыми днями напролёт, ехали даже по ночам, едва давая отдохнуть лошадям. В степи стояла весна – тёплые и ясные апрельские дни, когда до выжигающей траву жары было ещё далеко. Степь цвела. Она казалась ковром, сотканным из пушистых нитей самых разных оттенков зелёного: от тёмно-болотного стрелолиста до золотистых пушистых головок цветущего ковыля. Дикие тюльпаны островками пестрели в этом разнотравье, и цыганские девушки досадовали, что этакую красоту невозможно воткнуть в косы: жёлтые, красные, розовые лепестки мгновенно осыпались. Гусиный лук и маки держались чуть дольше, и у каждой таборной девчонки красовались в волосах мелкие лилии лука рядом с блестящими, как шёлк, маковыми лепестками.

На первую большую стоянку остановились на высоком берегу Кубани у станицы Марьянской. Здесь, казалось, было тихо. Лёгкие шатры, натянутые на жерди и словно парящие над землёй, точно заплатками покрыли степь. Загорелись костры, звонкие голоса детей наполнили воздух. Женщин, ушедших на промысел, приняли в станице как родных. Каза-

ки хотели узнать новости из первых рук, и ни одной цыганке в этот день не пришлось даже разложить карты. Вокруг каждой и без того толпились станичники с жадными вопросами о том, что всю зиму творилось в занятом красными Крыму. Таборные горько вздыхали, крестились – рассказывали. Казаки тоже крестились, и их загорелые, суровые лица темнели ещё больше. А казачки, всхлипывая, совали цыганкам в фартуки последнюю прошлогоднюю картошку, сухой хлеб, сморщенное сало – хорошей еды было сейчас не сыскать. Но цыгане и этому были рады, и вечером – когда над Кубанью разлился закат и вода реки стала золотисто-розовой – в таборе варился роскошный кулеш. Усталые женщины отгоняли от котлов голодных детей, цыгане, лежавшие на траве возле шатров, нетерпеливо тянули носами. Красное, ленивое к вечеру солнце медленно опускалось за гору.

Тревогу подняли дети: было уже сумеречно, когда их горластая, взволнованная, полуголая стайка ворвалась в круг света у большого костра:

– Ромалэ, идёт кто-то! К нам идёт! От дороги!

По табору прокатилась встревоженная волна голосов, несколько молодых мужчин поднялись и пошли навстречу. Кое-кто предусмотрительно сунул за пояс кнут, кто-то взял от костра полубобгорелую головешку: времена стояли опасные, от случайного путника можно было ожидать чего угодно. За цыганами, переглянувшись, побежали и женщины, самая отчаянная из них, Юлька Копчёнка, даже прихватила от

своей палатки обрывок ржавой цепи. Но стоило им приблизиться – и стало видно, что от неожиданного гостя никакой беды ждать нельзя. Он был без рубахи, шёл медленно, шатаясь. Рука выше локтя была обмотана коричневыми от засохшей крови тряпками. На другом плече болталась кожаная сумка. Цыгане, переглянувшись, бросились навстречу:

– Эй, золотой, откуда ты? Кто это так тебя?

– Ме сым ром, манушале... – вырвалось у незнакомца. – Агараен ман, мангав тумен...⁸

Его мягкий выговор не был похож на речь этого табора, но то, что пришедший был цыганом, не вызывало сомнения. Мужчины подхватили его:

– Потерпи, родимый, теперь уж всё... Сейчас дотащим тебя, положим, бабы посмотрят... Где это тебя угораздило-то?

Незнакомый цыган не отвечал: ему явно было не до разговоров. Дыхание его было тяжёлым, хриплым, глаза закрывались сами собой. Едва оказавшись на наспех раскатанной перине, он потерял сознание. Вокруг него сразу захопотали цыганки, вытолкав из шатра ворчащих мужчин.

– Чего выстроились, идите отсюда! Он вам всё равно сейчас ничего не скажет! Не видите – при смерти человек! Даст бог, в чувство придёт, тогда и допросите, а сейчас – вон отсюда!

– Раскомандовались, сороки... – ворчали разочарованные

⁸ Я цыган, люди, укройте, прошу вас (*фраза на кишинёвском диалекте цыганского языка*).

цыгане, но всё же послушались и, разом вспомнив о своих пустых животах, вернулись к ужину.

Стояла уже глубокая ночь, когда старая Настя последней выбралась из палатки и тяжёлым шагом вышла к потухающему костру. Цыгане, устав ждать, давно разошлись по своим шатрам, и возле углей старуху ждал только муж, высокий старик с неласковым взглядом.

– Ну, что там? Помер?

– Нет, ничего, – осипшим от усталости голосом сказала старая цыганка, присев у огня и привычно расправляя складки цветастого фартука. – Молодой мужик-то, жизни в нём много... вытянет. Пульку Меришка из него выковыряла, рану завязала... Она ж доктор, правильно умеет.

– Ну и слава богу. – Дед Илья затянулся трубкой, выпустил в темноту клуб дыма. – Не сказал, из каких он?

– Какое, куда ему сейчас говорить... Но не из наших цыган, это верно. По разговору на котляров⁹ похоже, но вроде бы тоже нет. И ещё... Глянь, Илья, что мы у него нашли.

Старая Настя придвинула к огню потёртую кожаную сумку, встряхнула её – и на примятой траве возле углей тускло заблестело золото. Это оказались царские червонцы. Монет было много, и дед Илья только щёлкнул языком:

– Красота-а... А говоришь – не котляр! Поди, ехал себе

⁹ Котляры (*самоназв. – кэлдэраря*) – этнографическая группа румынских цыган, пришедших в Россию в конце XIX века. Диалект котляров схож с диалектом кишинёвцев.

невесту брать! Надо Юльку нашу к нему послать. Она ж сама из кастрюльщиков, помнить должна.

– Я тоже сперва подумала, что котляр. Только вот гляди... – Настя снова сунула руку в сумку и, повозившись, с трудом вытащила на свет чёрный, явно тяжёлый предмет. Монеты звякнули, когда он лёг поверх них и заблестел в свете углей воронёным стволом.

– Дэвла-дэвла... – нахмурился дед Илья, взяв в руки тяжёлый «наган» и осторожно вертя его. – Да уж... Навряд ли он кастрюльщик. Лихой, видать, цыган, из рисковых. А это чего?

– Бинокль! И откуда у него?.. – Старая Настя недоуменно повертела в пальцах цейссовские окуляры. Затем, обернувшись на шатёр, неуверенно предположила: – Кишинёвец он, может? Они все такие... бандиты. Да положи ты пистолет, дурень старый, не дай бог, пальнёт!

– Не пальнёт, коль не тыкать куда не надо! – проворчал старик, держа «наган» за ствол и сердито разглядывая его. – Н-да... Опять мы с тобой беды на свою голову нажили. И ведь какое место хорошее, думали, хоть недельку спокойно постоять – а с утра съезжать придётся! Снова коней трудить!

– Да почему ж, Илья? – испуганно спросила жена. – Что ты, зачем?..

– Зачем?! Слышала, что этот бандит сказал: «Укройте!» И сама подумай, много ль он этак прошёл, с пулей-то в себе? Золотишко-то, видать, не его! И очень сильно отдавать не

хотели, коль он из своего ливольверта не отстрелялся, а сам пульку поймал! Искать его станут! И угадай, дура, где?!

– Ох ты, дэвлалэ, хасиям...¹⁰ – растерянно пробормотала старая цыганка, невольно оглядываясь на шатёр, где спал раненый.

– Сообразила наконец?! Так давай, буди цыган! Пусть запрягут, до света тронемся! Тьфу ты, господи, и когда только кончится это всё, а?! – спросил дед Илья, задрав к безмолвным звёздам седую курчавую бороду. – Только-только из Крыма убрались от ужастей подале – так нет! И здесь несчастье догнало! И надо ж было именно у этой горки нам остановиться! И надо было вору кишинёвскому по этой дороге пойти! Насилу от нашего Мардо избавились, только я вздохнул спокойно – вот вам! Такой же! Ну, Господи, опять удружил, дальше некуда!

– Не серди бога-то, как бы хуже не вышло... – вздохнула Настя, собирая обратно в сумку монеты и понимая, что ворчит муж только от досады и не ему менять старый цыганский закон. Тот, кто искал в таборе защиты, всегда её находил.

С места тронулись до рассвета, оставив после себя лишь чёрные пятна ещё дымящихся кострищ. На всякий случай дед Илья велел сворачивать с большой дороги через степь на стёжку, тянущуюся вдоль самого берега Кубани, до знакомого ему брода, а там, перебравшись в узком месте через реку, табор выехал на другую дорогу, ведущую напрямиком на

¹⁰ Пропали мы (цыганск.).

Ростов. Ехали целый день, украдкой оглядываясь на пустую дорогу, но уже к обеду стало ясно: погони нет. На ночлег остановились возле небольшой речушки, растянули шатры, и старая Настя подошла к мужу.

– Там наш кишинёвец опамятовался. Иди, потолкуй с ним, коль хочешь. Парни его в палатку уже отнесли.

Незнакомец лежал в глубине шатра, у тележного колеса, опершись на самую большую Настину подушку – синюю в красных бубликах. Когда дед Илья вошёл в шатёр и сел рядом, он привстал было – и тут же сморщился от боли. На вид ему было лет тридцать. Спутанные, сильно отросшие чёрные волосы падали на влажный от испарины лоб. Светлые, цвета гречишного мёда глаза из-под сдвинутых бровей смотрели на старика прямо, чуть насторожённо.

– Лежи уже, чяво¹¹, куда взвился... – буркнул Илья. – Растрясло тебя в пути-то?

– Ничего, – хрипловато ответил молодой цыган. – Спасибо вам.

– Не на чем. Как тебя звать, чей ты? Откуда будешь?

– Из кишинёвцев. – Парень не сводил со старика внимательных светлых глаз. Взгляд его был спокойным и даже добродушным, но старому цыгану на мгновение стало не по себе. – Из мунзулешти. Беркуло меня зовут.

– Золотишко вот твоё. И ливольверт. И бинокля. – Илья положил рядом с кишинёвцем кожаную сумку, обвязанную

¹¹ Парень (цыганск.).

ремнём.

Посмотрел вопросительно, но Беркуло лишь коротко кивнул и не спеша положил на свою сумку ладонь.

– Что ж, лежи. – Старый цыган поднялся. – Коли чего надо, внучку покличь или невестку, тут их много крутится. Скоро ужинать будем. Дай бог тебе здоровья, ты молодой, скоро на ноги поднимешься.

Он уже выходил из шатра, когда его догнал хриловатый, медленный голос:

– Ты не бойся, пхурором¹², я уйду. Завтра уйду. Я всё понимаю.

Илья повернулся. Неприязненно глядя на Беркуло, сказал:

– Дурак. Из тебя, поди, ведро кровищи вытекло, насилу в себя пришёл, а туда же: «завтра»... Покуда крепко на ноги не станешь – и думать забудь! Иль ты такая знатная птица, что гаджэ тебя по всей степи до зимы искать будут? Много народу ты, что ли, у них пострелял?

– Искать не станут, дед, – серьёзно сказал Беркуло, на второй вопрос, впрочем, не ответив.

– Ну и слава тогда богу, – скрывая облегчение, отозвался Илья. – Отдыхай, – и, спиной чувствуя пристальный взгляд кишинёвца, вышел из палатки.

Беркуло не соврал старику: он в самом деле собирался уйти отсюда как можно быстрее. Он знал, что русские цыгане

¹² Старик, дед (цыганск.).

не привыкли к лихим кишинёвским делам. Но они спасли его, и Беркуло был по-настоящему им благодарен: глупо было умирать от случайной пули после того ада, из которого вырвался. Вспомнив об этом, он невольно передёрнул плечами и подумал о том, что теперь, наверно, никогда в жизни ничего не испугается. Даже смерти – если придёт она быстро.

Четверо их было – трое братьев и отец. Матери Беркуло почти не помнил: она умерла, родив его младшего брата. Отец в это время сидел, и Беркуло с братьями воспитывали тётки. Тёток было четыре, и у трёх мужья тоже сидели в тюрьмах. Но что было поделать, если ничем, кроме воровства, мужчины табора кишинёвцев не занимались? Кишинёвцы не лудят посуду, как котляры, не зарабатывают мёной и продажей лошадей, как русские цыгане, не водят медведей на забаву базарам, не режут ложек... Кишинёвцы – лихие люди. Их дело – промышлять по купеческим карманам на постоянных дворах, залезать по ночам в богатые дома. А если проснётся хозяин – глушить по башке дубинкой. И не держать это за грех. Потому что ничего хорошего от богатеев кишинёвцы не видели ещё со времён своей подневольной жизни в Бессарабии.

Когда-то прапрадед Беркуло, Мунзул, сильный и ловкий цыган, не захотел, чтобы с его женой проводил ночи молдавский боярин. Мария была кочевой цыганкой, взятой в боярские хоромы за несказанную красоту. Ни она, ни Мунзул не могли спорить: своей воли у бессарабских цыган не было.

У каждого бродячего табора имелся тогда хозяин, который мог сделать со своими цыганами что угодно. Любой боярский двор был полон цыган-рабов, которые выполняли всю тяжёлую работу. Цыганки служили утехой и для хозяина, и для его управляющих. Непокорных быстро усмиряли кандалами и плетью. Непокорной оказалась и Мария, которая кусалась и отбивалась до последнего и даже связанной ругалась и плевала в лицо боярину так, что взбесила его. Мунзул в это время рычал, как бешеная собака, в погребе боярского дома. Он слышал, как кричала Мария, слышал, как её били кнутом по босым пяткам, как после отволокли в сарай. Он знал: утром боярин снова придёт к ней. Этот хриstopродавец сделал правильно, связав Мунзула кожаными ремнями перед тем, как вдоволь наиздеваться над его женой. Но то ли ремни были гнилыми, то ли у Мунзула от отчаяния утродилась его знаменитая сила, он разорвал эти путы ночью. И голыми руками вырвал проржавевшую решётку из окна погреба.

На тёмном дворе никто не остановил его – а кому было останавливать, если сторожами были такие же цыгане, ничего хорошего не выдавшие от своего господина? Мария, лежавшая в углу сарая, не могла даже плакать от боли – и Мунзул покинул боярский двор с женой, висящей через его плечо, как перемётная сума. Ушёл в темноту – и никто его больше не видел. И его не смогли найти ни господин, ни полиция. Мунзул ушёл из Бессарабии в незнакомую, чужую русскую

землю.

Было это давным-давно, и Беркуло не знал: много ли выдумки было в этом рассказе о лихом прапрадеде – «гайдуке Мунзуле», по имени которого звался весь их род мунзулешти. Но отец эту историю любил и мог рассказывать её сыновьям хоть каждый вечер, неизменно утверждая в конце: «Прав был Мунзул, господ жалеть нечего! Они – собаки, а у сукина сына воровать не грех!» Маленькому Беркуло и в голову не приходило усомниться в этих словах. Тем более что в таборе кишинёвцев, колесящем по Украине, отца все уважали – за его силу, за смелость, за удачные кражи, за то, что щедро делился добычей. Воровал отец вместе со своими братьями – они «чистили» по ночам богатые купеческие дома, и долгое-долгое время удача была с ними. Но в конце концов счастье их кончилось. В Киеве, в доме богатого купца, троих братьев накрыли с поличным. Всех отправили на каторгу. Двое вернулись, а отец Беркуло так и сгинул в холодных краях.

На свою первую кражу Беркуло пошёл, когда ему едва исполнилось двенадцать лет. Толку, конечно, от него тогда было мало: старший брат Мирча просто поставил его у высоких, без единого просвета ворот и велел свистеть «если что». Взрослые цыгане, сжимая верные дубинки, бесшумно просочились на двор. И до сих пор Беркуло вспоминал ту душную, безлунную ночь – пахнущую жасмином из чужого сада, полную невнятных шорохов, каждый из которых мог нести

в себе опасность. Беркуло помнил смутные блики на распахнутом настежь окне дома, помнил, как растворился в этой ночи, как сам стал и темнотой, и душным воздухом, и запахом цветов, как всё это проходило сквозь него жгучими и острыми волнами. И этого странного, пьянящего, ни на что не похожего чувства опасности, сильнее которого он в жизни своей не испытывал, Беркуло уже не мог забыть. Позже он понял, что приходит оно только ночью, только возле чужого дома, в который ты с минуты на минуту войдёшь – и бог знает, выйдешь ли, потому что счастье долго не пляшет.

Та, первая кража прошла удачно, цыгане покинули тёмный дом с тяжёлыми узлами, той же ночью табор снялся с места и быстро ехал по пустой дороге до рассвета. Добытое разделили на всех. Мальчишка Беркуло получил свою долю наравне со взрослыми, выпил с ними вина и, с непривычки быстро захмелев, попытался рассказать о тех странных, острых ощущениях, которые охватили его ночью у ворот. Рассказал, должно быть, спьяну плохо, потому что цыгане заржали. Но брат Мирча, сердито рывкнув на остальных, усмехнулся и хлопнул Беркуло по спине: «Всё верно, парень! Так и быть должно, ночное дело всегда хмельное! Настоящим гайдуком будешь!» А Кежа, его жена, втихомолку заплакала и, чтобы никто не увидел её слёз, взяла ведро и пошла к реке. Беркуло едва удержался, чтобы не обернуться ей вслед.

Такой красавицы, как жена Мирчи, ни Беркуло, ни другие

цыгане его маленького табора не видели. Беркуло – была бы его воля – вовсе никогда бы не отворачивался от её смуглого, строгого лица (улыбалась Жежа редко), от зелёных громадных, как у речной русалки, глаз, от выющихся волос, пушистыми прядями выбивающихся из-под платка. Мирча любил жену, не жалел денег ей на подарки. Пальцы Жежи всегда были унизаны кольцами, многоярусные серьги свисали до плеч на зависть другим цыганкам. Но подарки, казалось, не радовали её. «Всё бы выбросила и нового бы не попросила, лишь бы ты в тюрьму больше не сел», – говорила она мужу. Но Мирча только отмахивался от бабьих глупостей и раз за разом отправлялся на опасные дела. Беркуло шёл за ним не задумываясь. Их младший брат тогда ещё бегал голышом по табору, но обещал, что, когда вырастет, будет таким же лихим гайдуком.

Первый раз Беркуло сел в тюрьму в шестнадцать лет. Отсидел два года, а выйдя, сразу же женился, надеясь хотя бы так избавиться от неотвязных мыслей о Жеже. Будущую жену он увидел на ярмарке в Харькове – маленькую девчонку лет пятнадцати, черноглазую, с широкой улыбкой, с блестящими белыми зубами – а много ли ему надо было тогда? Ему, только вышедшему из тюремных стен? Они с той девчонкой переглянулись только – а ночью она уже ушла в его табор. Когда поутру её разгневанные родственники прибежали к палаткам, рубашка молодой жены с цветущей «розой» уже висела у входа в шатёр. Родне оставалось только вздохнуть, пе-

рекреститься и сесть за свадебные скатерти.

Они прожили вместе два года, Галда успела родить ему сына, а потом Беркуло снова попался, снова сел, а жена... ушла. Он узнал об этом в тюрьме. Перед самой высылкой по этапу к нему пришла на свидание Жежа.

– С чего ж она ушла? – спросил Беркуло, сам удивляясь тому, что, кроме лёгкой досады, не испытывает ничего. – Обижал её, что ли, кто?

– Бог с тобой, никто не обижал! – Заплаканная Жежа только отмахнулась. – Сука твоя Галда, только и всего! Три дня рядом с нами чужой табор стоял... С ними она и ушла. Верно, кто-то из цыган ихних ей, паскудине, глянулся... Ты не мучайся, щяворо, не стоит она мучений твоих! Сына, слава богу, оставила – и скатертью ей дорожка!

– Так Ибриш у тебя остался?

– А как же! Она его с собой не взяла, зачем ей?.. Тьфу, чтоб ей, заразе, подохнуть! И хорошо, и слава богу, что ушла! – убеждённо сказала Жежа, ударяя кулаком по расстеленному на коленях цветастому фартуку. – Тебе ж лучше, щяворо. Выйдешь – другую себе возьмёшь, во сто раз лучше!

– Не возьму, – с напускным безразличием зевнул Беркуло. – Все вы одинаковые, бабы-то... гадюки. Какой с вас прибыток? Горе одно.

Жежа не ответила. Когда же молчание начало затягиваться и Беркуло с удивлением поднял на неё глаза, он увидел, что по смуглым впалым Кежиным щекам ползут слёзы.

– Ты чего? – немного растерялся он.

– Собачьи вы дети, все до одного, вот что, – сдавленно сказала Кежа, не вытирая слёз. – Мы вас ждём, а вы нас – гадюками... Я Мирчу третий раз в тюрьму провожаю... В третий! И сколько лет теперь без него... – Она захлебнулась рыданием, прижала кулак ко рту, зажмурилась. – Ах вы, мужики, мужики... Кабы вы хоть минуту в жизни своей про нас подумали, про слёзы наши...

– Да что про вас думать-то?.. – усмехнулся Беркуло. Но всё же он был смущён и, помедлив, взял холодную, мокрую от слёз руку Кежи, прижался к ней лбом. – Прости. Злился на Галду, а обидел вот тебя...

Она отрывисто вздохнула, погладила его по щеке.

– Глупый ты ещё... молодой. Что из тебя тюрьма сделает?..

– Хуже, чем есть, не будет, – через силу улыбнувшись, пообещал он. – Ступай. Тебе с Мирчей дадут свиданку?

– Не знаю. Пойду сейчас начальника просить. – Разжав кулак, Кежа показала золотое кольцо. – Моё, свадебное. Может быть, возьмёт да даст повидаться. А ты будь спокойным, сына твоего выращу.

Это был первый серьёзный срок для Беркуло: его отправляли в Нерчинск, и выйти на свободу он должен был только в двадцать восемь лет.

Про Кежу он думал часто, гораздо чаще, чем про сбежавшую жену, черты которой вскоре стёрлись из памяти на-

столько, что, встретить Беркуло её случайно на улице, пожалуй, и не узнал бы. А тёмное худое лицо Кежи вставало перед глазами каждый день. Ничего плохого он поначалу и в мыслях не имел: Кежа была женой его брата, и Беркуло скорее руку бы себе отрубил, чем попробовал бы... Тьфу, и думать-то о таком паскудно! Но в одиночестве каторжных дней мысли вели себя как хотели, распоясались до полного бесчинства, и Кежа стояла и стояла перед глазами со своим погасшим взглядом, тихим, чуть хрипловатым голосом, тёплой ладонью, которой она тогда, на последнем свидании, коснулась его лица... Она была всего на шесть лет старше его, и в конце концов Беркуло додумался до того, что чем чёрт не шутит. Брат-то может с каторги и не вернуться, а там уж... Потом спохватывался, ругался страшными словами, гнал от себя грешные мысли. Иногда помогало.

Амнистия семнадцатого года неожиданно принесла волю. Но бывшую империю трясло и колотило, дороги были полны беженцами, вся Россия, казалось, превратилась в большой и бестолковый табор, и Беркуло тоже вдоволь помотало по стране. Осенью двадцатого года он в поисках родни добрался до Феодосии. Но ни одного кишинёвца на городском базаре Беркуло не обнаружил. С голодухи подводило живот. От отчаяния, наудачу он попытался было залезть в пояс какому-то греку, важно бродившему по полупустым рядам, но вышла незадача: грек почувствовал чужую руку и поднял страшный шум. Беркуло махнул было через ряды, но его быстро догна-

ли, повалили, отметелили всем базаром и отволокли снова в тюрьму. На этот раз удача не улыбнулась ему, даже не повела плечом. Отвернулась и ушла, как чужая.

Суда, впрочем, Беркуло так и не дождался: той осенью врангелевцам было не до уголовного элемента, сидящего в тюрьме. На Перекопе шли последние бои, красные рвались в Крым, белые с отчаянностью обречённых удерживали свои последние позиции. Из порта каждый день отваливали суда, переполненные беженцами. По ночам в тюрьме слушали глухие орудийные удары, крутили головами и строили планы.

– От кабы в тюрьму ударило, урки, а? – мечтательно улыбался молодой одесский вор Зяма Глоссик, ловя по швам грязной тельняшки вшей. – Вы ото ж вообразите себе картинку: стены развалиются, а посере́дке – мы как на тарелочке... Тю, красота!

– Не примите за оскорбление, но вы болван, Глоссик, – презрительно перебивал его «интеллигентный» марвихер¹³ Крассовский. – Ежели ударит в тюрьму, то от вашей наглой личности останутся одни воспоминания для вашей мамы... И от нас всех, к сожалению, тоже. Молитесь, чтоб ударило рядом и желательно в комендатуру. Эти золотопогонники ничего не понимают в порядочных людях! Где это видано, чтоб уважаемого урку сажали без суда и следствия, за одну репутацию?!

– Ай, Крассовский, не принимайте позу! Господа вам ока-

¹³ Путешествующий вор-карманник.

зали такое уважение, а вы не цените... От большевиков вы такого навряд ли дождётесь, у них все равны!

– Скоро к чертям собачьим перестреляют усих, и амба... – сипел с нар старый карманник Жмых, чёрный и скрюченный, как забытый на грядке перец. – Сёма Жареный у Харькови сидев, когда Деникин оттуда отходяв... Щоб не думать долго, усих повыводили – и урок, и политических – и с пулемёту покосили, як ту травку... Никого живого не выбралось, усих беляки в овраг свалилы – и потиклы сами до Крыму... Куда им с арестантами возиться, колы краснюки на хвосте?

– Жмых, не гадыте людям на последнюю надежду, – лениво осаживал его Крассовский. – В ваши годы так брехать просто невоспитанно. Слышал я за этот шухер в Харькове... Коли там всех покосили, то откуда вы-то за это дознались? На сеансе спиритизма? Нет, пусть господа офицеры стреляют своих идейных противников! Вон вся соседняя камера ими напихана! Давеча я стучал им и вежливо просил: граждане, прекратите завывать «Интернационал» среди ночи, уважаемые люди не могут спать! А они что? Грянули «Марсельезу»! Да ещё дурными голосами! А у меня консерваторский слух, я не могу этого выносить!

Жмых кряхтел, поглядывал на Крассовского злобно, подзревая в мудрёном слове «спиритизм» оскорбление для своего воровского достоинства, но провоцировать драку не решался.

Беркуло в разговор русских воров не вмешивался, хотя

Глоссик ему нравился. Иногда, чтобы убить время, они часами резались в очко потёртыми картами. Иногда Глоссик ностальгически вспоминал «за Одессу», найдя в лице молчаливого желтоглазого цыгана отличного слушателя. Иногда жалобно просил:

– Спел бы, мора, а? Путёвое что-нибудь, со слезой! Спасу нет уже тот «Интернационал» из-за стены слушать!

– Кабы мог – спел бы! – с усмешкой отмахивался Беркуло. Петь он в самом деле не умел.

Казалось, про них действительно забыли. Однажды целых три дня не приносили баланду: и воры, и политические отбили кулаки, молотя в запертые двери камер и требуя еды, новостей или хотя бы вынести парашу. Но тюремный коридор безмолвствовал, а за стенами то и дело слышалась перестрелка и даже один раз грохнул разрыв снаряда.

На рассвете четвёртого дня снаружи зазвенели ключи, лязгнул, открываясь, замок на двери. В воровской камере никто не спал, арестанты молча, быстро попрыгали с нар. Дверь с визгом открылась, впустив клин серого света.

– Выходьте по одному, шантрапа! Руки тяните!

Воры переглянулись. Зяма Глоссик пожал плечами, засвистел сквозь зубы похабную песню и пошёл из камеры первым.

Беркуло не понимал, для чего каждому выходящему связывают руки, и попытался даже спросить об этом сумрачного казака, крутящего ему запястья лохматой верёвкой. Но во-

прос замер у него в горле, потому что в это время с тюремного двора слышалось нестройное пение. Политические пели свой любимый «Интернационал».

– Паскудство, а не репертуар, – поморщился Крассовский, стоящий у стены вместе с другими. – И что за...

Договорить он не успел: грянул залп. «Интернационал» оборвался. Воры у стены молча уставились друг на друга. Тишину нарушил всё тот же Крассовский.

– Жмых, я вынужден перед вами извиниться, – негромко сказал он. – Кажется, вы были правы за шухер в Харькове.

– Бог простит, – просипел Жмых, сплёвывая себе под ноги. – Глоссика с цыганом жалко – молодые...

Их вывели на двор – и Беркуло сразу сообразил, для чего арестованным связали руки: в толстой тюремной стене зиял довольно внушительный проём, по обе стороны которого высились кучи камней и рыжей кирпичной пыли. У самого проёма, загораживая его, стоял взвод солдат, перезаряжающих винтовки. У тюремной стены лежал с десяток тел, серые камни были покрыты багровыми потёками.

– Тю... Это кто ж так лихо управился? – удивился Глоссик, поглядывая на пролом в ограде. Скулы его были белыми, плоское лицо – неестественно спокойным, и Беркуло невольно восхитился этим спокойствием. Сам он тоже не собирался перед смертью выть, как баба, но так непринуждённо заговорить не смог бы. – Кажись, политические до своих рвались, да не вышло?

– Замолчать, – коротко приказал высокий офицер с бледным лицом невыспавшегося человека, в испачканной кирпичной пылью черкеске. Рядом с ним стоял второй, в форме казацкого урядника, сосредоточенно разглядывающий ствол своего «нагана». У самого проёма виднелись две гнедые осёдланные лошади.

– Кто верующий – молитесь, – продолжил белогвардеец. – Петренко, ставьте их к стене, у нас мало времени. «Апостол» отходит через два часа, мне хотелось бы на него успеть.

Воры негромко загудели.

– Пан офицер, может быть, не знает, – вкрадчиво начал Крассовский. – Здесь никого большевиков не имеется, а только порядочные воры, которые всегда уважали барона Врангеля. Конечно, святых тут нет, но и стрелять без суда блатной народ тоже как-то некрасиво, согласитесь... Прежде так не делалось! И чести русскому офицерству это не добавит!

– Кто это тут учит меня чести? – устало и даже не подняв на Крассовского взгляда, спросил офицер. – Становитесь, ворё... Если желаете тоже что-то спеть – прошу, пока взвод перезаряжается.

Урядник, стоявший рядом, усмехнулся краем обветренных губ, опустил револьвер. И Беркуло вдруг отчётливо понял, что это в самом деле конец, что через минуту он вместе с русскими ворами будет лежать в пыли у этой серой стены, с которой на него станет капать его же собственная кровь.

В голове вдруг сделалось пусто и ясно, зазвенело в ушах, и этот звон сильно мешал, когда он обратился к офицеру:

– Господин, за что же меня стрелять? Я ведь и не вор даже... Я цыган!

– Цыган – и не вор? – Офицер поднял на него глаза, которые напугали Беркуло ещё больше, чем расстрельный взвод у проломленной стены, – пустые, блёклые, без всякого выражения, даже без злости. – Да и какой ты, к чёрту, цыган, врёшь... Где твои очи чёрные?

– Не у всех цыган, господин, очи чёрные. По-всякому бывает.

– В самом деле? А петь умеешь? – с внезапным интересом спросил офицер. – Можешь, например, спеть «Пару гнедых»?

– Соглашайся, босяк... – чуть слышно бормотнул сзади Глоссик. – Авось смилостивится, гад...

Беркуло молчал, потому что названной офицером песни не знал. Вздохнув, он с тоской посмотрел на неподвижные тела у стены, на кучи кирпичей, на лошадей возле них, мельком подумал: «Вот они – пара гнедых»... и вдруг в голове словно взорвалось что-то. Звон в ушах сразу же смолк. Пропала отвратительная дрожь в животе, он снова почувствовал свои ноги и услышал свой голос.

– Спою, конечно. Только сперва прикажи развязать. Цыгане – люди вольные, связанными не поют.

Офицер, пристально глядя на него, казалось, колебался.

Но у Беркуло уже пропал страх, осталось только звенящее отчаяние, которое вдруг появляется у тех, кому нечего терять, и он улыбнулся в лицо офицеру.

– Прикажи, господин! Последний раз в жизни на своей земле цыганскую песню услышишь! Будешь до смерти вспоминать!

– Но какова, однако, наглость... – проворчал стоящий рядом урядник. – Поручик, я бы на вашем месте...

– Развяжите, Петренко, – помедлив, сказал офицер. – Этот нахал, согласитесь, прав. А две минуты дела не решат. Что ж, цыган, я слушаю тебя.

Пока урядник развязывал ему руки, Беркуло неотрывно смотрел на стоящего рядом Зяму Глоссика. Сощуренные глаза молодого вора не выражали, казалось, ничего. Но, когда Беркуло тряхнул освобождёнными кистями, широко улыбнулся и вздохнул всей грудью, Глоссик молча и изо всей силы ударил связанными руками урядника.

– Бежи, цыган!..

Почти сразу грянул выстрел. Вор мешком повалился на землю, но Беркуло дёрнул из рук казака дымящийся «наган» и кинулся к лошадям, стоящим у стены. Он ни минуты не надеялся вырваться отсюда живым, ведь перед ним был целый взвод с винтовками. Вот сейчас... сейчас обожжёт спину пульей – и он упадёт так же, как Глоссик, и ткнётся лицом в битые кирпичи... Но это будет сразу, мгновенно, и ему не придется стоять со связанными руками у стены в ожидании

залпа. Что ещё нужно человеку, чтобы достойно умереть?

И выстрелы грянули – один, другой, третий, послышались крики, ругань... Одна из лошадей, раненная, болезненно заржала. Беркуло, уже ничего не соображая от страха, взлетел на спину второй гнедушки и истошно заорал:

– Пошла, родная, выноси!!!

Гнедая, испуганная выстрелами и криком, взвилась на дыбы и бросилась в стенной пролом прямо сквозь солдатский строй. Гремели выстрелы, кирпичная пыль сыпалась на голову и плечи, Беркуло уже не знал, цел он или ранен, жив или мёртв и кто орёт, погоняя гнедую, если у него сухо и горько в горле, а в глазах – темнота... Вскоре лошадь под ним рухнула с почти человеческим вскриком, поймав пулю в ногу, – и Беркуло, свалившись с её спины, помчался так, как не бегал никогда в жизни. Он махнул через высокий забор в чей-то сад, пересёк его, снова прыгнул через ограду, скатился по короткой лестнице с разбитыми ступенями, нашёл дыру в стене из ноздреватого жёлтого песчаника, оказался в зарослях одичавших акаций, прорвался сквозь них, выбрался на пустую узкую улочку, слетел по ней к морю и уже там, оказавшись среди выщербленных ветром, поросших сухой полынью утёсов, понял, что за ним больше никто не гонится.

До ночи Беркуло просидел среди камней, бездумно глядя на то, как отходят корабли от порта. Он находился в каком-то странном, непонятном оцепенении, ещё не веря до конца, что жив, что вырвался... Удача сплясала так, как ещё ни ра-

зу в его жизни, если бы не она... и не Глоссик, которому, наверное, тоже не захотелось мучительно ждать выстрела, стоя у стены. Беркуло подумал, что нужно как-то добраться до Одессы и разыскать мать этого русского вора, а заодно и поставить свечу за упокой – и его, и остальных. Эта первая за день обычная, здравая мысль неожиданно привела его в чувство. Беркуло внезапно ощутил страшный голод. Вспомнил о том, что ничего не ел четыре дня, и, поднявшись, запрыгал по уже сумеречным утёсам вниз, к дороге.

Свечи он так и не поставил, вовремя спохватившись, что Глоссик был еврей, а у них это, должно быть, делается как-то по-другому. Выяснить, как надо благодарить бога по-еврейски, Беркуло оказалось уже некогда. На следующий день в Феодосию ворвалась красная конница, и в начавшейся крутоверти ему едва удалось выбраться из города в степь. В Одессе он оказался только зимой, день прокрутился на Привозе, неожиданно встретил там знакомого карманника, с которым сидел под Нерчинском, и тот подробно объяснил, как найти на Молдаванке Глоссикову мамашу.

Старая, высохшая, как черносливина, еврейка выслушала его без слёз и причитаний. Долго молчала, опустив покрытую чёрным платком голову и беззвучно шевеля губами, затем подняла сухие глаза и внимательно посмотрела на Беркуло.

«Хочете остаться у меня до весны, молодой человек? Сейчас шманаться по дорогам опасно, во второй раз вам может

так и не свезти».

Беркуло поблагодарил – и не остался. В Одессе ему нечего было делать: никто из здешних цыган не мог ему сказать, где искать маленький табор кишинёвцев-мунзулешти. Его семья обычно зимовала на хуторе под Харьковом, туда он в конце концов и отправился.

Но и под Харьковом табора не оказалось. Дядька Питух, у которого они год за годом снимали полхаты для постоя, узнал Беркуло, удивился, что тот жив, рассказал, что да, семья его приезжала было на постой. Но их не пустили расположившиеся на дворе дядьки Питуха махновцы. Сейчас махновцев ни в хуторе, ни на селе уже не было. Но цыгане не вернулись, и дядька Питух не знал, куда они поехали.

«Хто зараз разбэрэ, усих поразносило... У мене трое сынов было – где хоть один?.. Ничого не знаю, ничого не слышав... Хочешь, хлопче, оставайся до весны, пособишь в хозяйстве, а весной побачишь, що робить...»

На этот раз Беркуло согласился: куда ему идти, он не знал, земля уже была покрыта снегом, стояли морозы, а у него разваливались последние сапоги. Стало быть, придётся зимовать одному.

У дядьки Питуха он прожил до тепла. Помогал по хозяйству, от которого, по словам хохла, остались «роги да ноги»: две старые кобылы, худая и злая свинья, три овцы и пяток полудохлых кур, чудом уцелевших после квартирования здесь махновцев. На взгляд Беркуло, и это было очень даже

ничего, но дядька Питух всё не мог забыть времён, когда он с тремя сыновьями запахивал по сорок десятин вокруг, а скота, по его словам, было столько, «щó нога у навози до колена топла». Сейчас Питух жил один, сыновья его пропадали на войне, две невестки «ещё до Врангеля» уехали с детьми навестить родителей на Полтаву да так и не вернулись, а жена минувшей осенью умерла.

«И как без бабы господарство?.. – сокрушался Питух по вечерам, когда воющая метель заметала хату выше окон. – Ты, парень, краще давай по весне женись да оставайся с жинкой у меня. Добре житы будемо!»

«Не цыганское дело хозяйствовать, дядьку, – усмехался Беркуло, в душе уверенный, что «добре житы» в ближайшее время здесь не придётся никому. – Вот пригреет – и пойду до своих. Обскучался – сил нет! А жениться... больно надо. Курвы они все».

Пригревать начало в марте. Весна оказалась дружной: как-то очень быстро, за несколько дней сошёл снег, отовсюду стрелами полезла молодая трава, проплешины чёрной земли исходили паром. В одну ночь вспух, посинел и лопнул лёд на узенькой речонке, обвивающей хутор. Раздалось и заголубело небо. Беркуло уже не мог спать в хате, которая сразу показалась ему душной, и, выпросив у дядьки Питуха старый кожу, на всю ночь уходил в конюшню. Там лежал на спине, глядя в щели рассохшейся крыши на холодноватые звёзды, думал о том, что ещё подождать недельку-другую, пока под-

сохнут дороги, – и в путь. Он собирался идти в Ростов.

В одну из ночей Беркуло проснулся в конюшне от лязганья железа, лошадиного ржания и пьяных голосов, доносящихся со двора. Казалось, сразу несколько человек, ругаясь, колотят в едва держащиеся на ржавых петлях ворота. В хате зажглась лучина, послышался испуганный, сиплый спросонья голос дядьки Питуха: «Зараз, зараз, хлопцы... Не долбите в ворота, вражьи диты, зараз!»

Знакомая, холодная змейка опасности скользнула по хребту. Резво выпутавшись из кожуха, Беркуло приоткрыл было двери конюшни, намереваясь осторожно выбраться наружу и дёрнуть задами в степь. Но это оказалось уже невозможно. Двор был полон всадниками, слышался смех, громкие крики:

– Хлев открывай, дядьку, выкладывай что есть!

– Нэма, ничего нэма, ироды! – орал из хаты дядька Питух. – Усё вже повзялы, усё потащилы, черти окаянные, ничего нету! Пропадите вы пропадом!

Беркуло не стал дожидаться, чем кончатся переговоры между хозяином и ночными гостями. По приставленной к стене шаткой лесенке он взобрался к крыше, вцарапался по скрипящим стропилам на самый верх и, обняв толстую балку, затаился, стараясь даже не дышать: с балки отчаянно сыпалась труха.

Он слышал, как выволокли во двор дядьку Питуха, как тот отчаянно ругался, проклиная и красных, и белых, и зе-

лёных, как потом он замолчал, а двери хлева отчаянно закрипели под напором неожиданных гостей. Вскоре заверещала свинья, заполошно закудахтали куры. Трое в мохнатых шапках, в расхристанных шинелях вошли в конюшню, осветив её жгутом из тряпок. Довольно загомонили было, увидев лошадей, но, осмотрев их, сразу же разочарованно заругались: кобылы были старые, под седло не годились и, скорее всего, быстро пали бы и в упряжке. Тем не менее их вывели на двор. Сжавшегося среди стропил Беркуло никто не заметил, и он просидел в обнимку с балкой до утра.

На рассвете банда уехала. Беркуло на всякий случай не спускался ещё с полчаса, пока не убедился окончательно, что на хуторе тихо. Затем с трудом (руки затекли до тупой боли) отцепился от балки и прыгнул вниз.

Конюшня была пуста, пуст и хлев, только на пороге его, вдрызг разбитом чьими-то тяжёлыми сапогами, ковырялся рыжий петух: его то ли не нашли, то ли не смогли поймать в потёмках. Жидкая грязь на дворе была вся истоптана, дверь в хату сорвана с петель. Дядька Питух лежал на пороге, откинув голову и разбросав руки. Его серая холстинная рубаха была залита кровью. Беркуло поморщился, взглянув в лицо хозяина, и шагнул через него в хату. Зашёл за печь, наклонился, приподнял маленькую, аккуратно подпиленную половицу, сунул туда руку – и усмехнулся.

Обратно на двор, уже облитый бледным светом, Беркуло вышел с потёртой кожаной сумкой в руках. В сумке – он

знал – было три десятка царских червонцев и армейский бинокль, невесть откуда взявшийся у дядьки Питуха. Беркуло несколько раз наблюдал по ночам, как хозяин, думая, что его постоялец спит, украдкой пробирается к своему добру и проверяет, на месте ли всё. Кишинёвец всерьёз намеревался по весне, отправляясь в путь, прихватить Питухово золотишко с собой. Теперь же нечего было и задумываться.

– Дождался, жмот старый? – негромко спросил он у неподвижного хозяина, вытаскивая из сумки бинокль и направляя его на покрытый золотистой дымкой горизонт. – Отдал бы им монеты – может, и жив бы остался. А теперь что?

Дядька Питух молчал, глядя в занимающееся розовым светом небо широко открытыми глазами. Движением ладони Беркуло опустил ему веки, оправил покрытую уже засохшей кровью рубаху, перекинул через плечо сумку и задержался на минуту в конюшне, чтобы прихватить кожух: по ночам ещё было холодно. Потом сунул за пояс свой незаряженный «наган», вырванный на тюремном дворе у урядника, вышел на залитую талой водой, пустую дорогу и пошёл против солнца, даже не приперев за собой ворота.

Когда Беркуло добрался до донской степи, она уже цвела вовсю, колыхаясь пушистыми метёлками ковыля, раскачиваясь алыми, беззащитными венчиками маков на тонких ножках, топорщась вдоль дороги копьями остролиста. Воздух был напоён запахами, небо звенело от жаворонков, стайки насекомых колыхались над цветущей травой, кружась в

облачках пылицы. Беркуло шёл день за днём, пользуясь ясной погодой и подсыхающей на глазах дорогой. Дважды, достав «наган», он останавливал телеги «дядькив», едущих на базар, и вежливо просил «не поскупиться и не дать с голоду подохнуть». Спокойное, добродушное лицо цыгана, его светлые глаза, медленный негромкий голос, а главное – воронёный ствол «нагана» действовали на селян завораживающе, и они покорно позволяли Беркуло рыться на их возах в поисках съестного. Он понимал, что действовать так рискованно, и что рано или поздно ему может попасться мужик не робкого десятка, и что тогда он сделает – один, с незаряженным «наганом», который можно в лучшем случае использовать как кастет? Но очень уж хотелось донести червонцы до семьи в целости, а не разбазаривать их по хуторам на еду.

До Ростова уже было рукой подать, когда всё случилось так, как и боялся Беркуло. Крепкий, седоватый, с насупленными бровями казак, увидев направленный на него ствол «нагана», почему-то не испугался, а, решительно крякнув, ударил кишинёвца кулаком в лицо. Удар был сильным, Беркуло упал на дорогу и ещё успел увидеть, как дядька, победно завопив, схватил со дна телеги обреза.

– Эй, пан, что делаешь, я ж шутил! У меня и «наган» незаряженный, сам взгляни! – заорал Беркуло, резво закатываясь под телегу и выскакивая с другой стороны. Но, поднявшись на ноги, он увидел направленное ему прямо в лицо дуло, едва успел дёрнуться в сторону – и руку ниже плеча обожгло

горячей болью. Беркуло бросился наутёк. Неподалёку топорщился кустами раkitника овраг. Беркуло не очень-то и рассчитывал добежать до него, потому что вслед по-прежнему гремели выстрелы, перемежаемые виртуозной руганью. Но то ли он быстро бежал, то ли дядька не был хорошим стрелком – ни одна пуля его больше не достала. Беркуло кубарем скатился по склону оврага на дно, где чуть слышно журчал крошечный ручей, забился под кусты и замер.

К счастью, казак не пошёл искать его, Беркуло услышал только последнюю яростную тираду: «Щоб ты сдох, пёсий сын, всю кровь повыпили!!!» – и скрип отъезжающего воза. До темноты он просидел на дне оврага, кое-как замотав раненую руку разодранной на полосы рубахой и немного напугавшись тому, сколько вытекло крови. Потом смолкли птицы, на овраг навалились сумерки, в тишине отчётливо стало слышно журчание ручейка, из которого Беркуло время от времени жадно пил и мочил повязку. В изрезанном ветвями раkitника сиреневом небе появился молодой тонкий месяц, с любопытством заглянувший в овраг и заливший его склоны беловатым светом. Остро, горько запахло гусиным луком и цветущей полынью. Втягивая этот запах и машинально зажимая ладонью ещё кровоточащее плечо, Беркуло заснул.

Проснулся он уже за полдень и сразу же заметил, что повязка насквозь пропиталась кровью. Чертыхаясь, Беркуло снял её (плечо горело огнём), кое-как завязал рану остатками рубахи, долго пил из ручья. Проверил сумку с золотом и

биноклем. Она была рядом, и Беркуло немного успокоился. Надо было, хочешь не хочешь, выбираться на дорогу.

Из оврага он вылезал, казалось, целую вечность. Голова шла кругом, отчаянно тошнило, плечо дёргалo такой болью, что темнело в глазах. Идти оказалось и вовсе невмочь: через каждую сотню шагов приходилось присаживаться на обочину, и с каждым разом всё труднее было заставлять себя подниматься и шагать дальше. Но Беркуло почему-то был уверен, что если он сойдёт с дороги и ляжет в траву отдохнуть, то не встанет больше. Он не ощущал идущего времени, не мог заставить себя поднять голову, чтобы взглянуть на солнце, и боялся даже думать о том, что с ним будет ночью. Руки он уже не чувствовал, но ноющая, тяжкая боль разлилась по всему телу, и Беркуло знал: наутро он, скорее всего, уже не встанет из молодой травы.

Понемногу спала жара, снова спустились сумерки, потянуло свежестью, и Беркуло понял, что если ему не чудится, то рядом река. Дойти бы... дойти, напиться перед смертью холодной воды – а там уже и всё. Сквозь бухающий в виски жар ему слышались вдруг звонкие крики: «Ромалэ! Ромалэ!»

«Цыгане?..» – удивился он, теперь уже точно уверенный – бред... Он едва успел сказать им несколько слов. А потом земля, качнувшись, ушла из-под ног, вечерний свет погас, рванулся куда-то за спину месяц – и навалилась тьма.

– Дэвла, Меришка, ёв дыкхэл пэ мандэ!¹⁴ Ай!

– Кай, со ту? Ёв совэл!¹⁵

– Да мэ тукэ ракирава – дыкхэл! Ай, мэ дарав!¹⁶

– Дылыны, со дарэса?! Схал ёв тут? Побэш лэса, мэ ака-на...¹⁷

Голоса были молодые, девичьи. Беркуло с трудом разлипил тяжёлые веки и успел увидеть только взметнувшийся пёстрый подол: одна из цыганок выбежала из шатра. Беркуло посмотрел на оставшуюся девчонку, безуспешно стараясь улыбнуться, чтобы не напугать её ещё больше. Полотняная крыша шатра была розовой от заката, и лучи позднего солнца, светя в спину девушке, пронизывали её распущенные тяжёлые волосы. Лицо девчонки было загорелым, худым, на длинной шее, в ямке, билась жилка. Из-под мохнатых, подрагивающих, как живые, ресниц внимательно, чуть испуганно смотрели тёмные глаза.

«Как на нашу Кежу похожа, дэвла... – было первым, что пришло ему в голову. – Только глаза чёрные...» Вслух же Беркуло спросил:

– Как тебя звать?

– С-сима... – с запинкой пробормотала девушка. Смутившись от его пристального взгляда, затеребила в пальцах пу-

¹⁴ Боже мой, Меришка, он на меня смотрит! (*цыганск.*)

¹⁵ Где, что ты? Он спит! (*цыганск.*)

¹⁶ Да я тебе говорю – смотрит! Ай, я боюсь! (*цыганск.*)

¹⁷ Дура, чего боишься?! Съест он тебя? Посиди с ним, я сейчас (*цыганск.*).

шистую прядь волос, пробормотала: – Тебе больно, да? Сейчас бабушка придёт, поможет...

Беркуло молчал, чувствуя: что бы он ни сказал ей сейчас, всё будет не то. Даже улыбаться не решался, видя, что девчонка на самом деле его боится. Но она и не убежала почему-то, и Беркуло вспомнил, что та, другая, велела ей сидеть с ним. «Подольше бы они свою бабку там искали, что ли...»

Но старуха пришла быстро, начала, бурча, раскладывать на полотенце сухие пучки трав и корешков, и Симка выскочила из шатра так, словно за ней волк гнался. Беркуло понадеялся – может, потом заглянет... Но вместо Симки явился старик, который, положив рядом с Беркуло его сумку с монетами, биноклем и «наганом», принялся осторожно расспрашивать гостя о его приключениях. Беркуло по возможности говорил правду, понимая, что дед волнуется за свою семью. Старик, видимо, почувствовал это и ушёл успокоенный.

Из-за него табор съехал с прежнего места, но зато на новой стоянке оставался целую неделю. Беркуло лежал в шатре, дивясь тому, как забавно он устроен у русских цыган: растянут широко, как крылья большой птицы, полотнища не доходят до земли, словно палатка парит над травой и вот-вот взлетит в небо. Ухаживали за ним бабка Настя и её не то внучка, не то дочка Меришка, совсем молодая, с резковатым, красивым лицом, которая перевязывала его руку так ловко и небольно, словно настоящий доктор.

Заняться было совершенно нечем. Беркуло даже заскучал,

но подниматься и трогаться в путь бабка с Меришкой ему запретили напрочь, уверяя, что затянувшаяся было рана сразу же откроется. Рисковать Беркуло не хотелось, и он послушался. Подолгу спал в шатре, зарываясь лицом в мягкие, пахнущие степной травой подушки и получая острое наслаждение от безопасности. Слушал, как перекликаются в весеннем небе птицы, как галдят дети, как переговариваются цыганки на едва понятном ему языке, как они поют незнакомые, протяжные песни, каких никто не пел у них в таборе. И каждую минуту готов был притвориться спящим. Потому что та девчонка с длинными ресницами входила в шатёр, только убедившись в том, что глаза у гостя закрыты.

Поначалу-то в палатку совали носы все, кому не лень: дети, молодые девчонки, цыганки постарше, даже взрослые мужики. Беркуло усмехался про себя: ишь как всполошились, лошадаики, – настоящего рискованого цыгана, поди, никогда в жизни не видали. Он знал, что другие цыгане не любят и боятся их, кишинёвцев, за их опасные дела, за то, что они не знают никакого занятия, кроме краж. Но вскоре любопытство спало, таборные перестали заглядывать в шатёр, и только Симка прибежала то и дело: что-то взять, что-то положить, убрать, передвинуть... Но, если он пытался заговорить с ней, девчонка отвечала сквозь зубы и выскакивала из шатра, схватив первую попавшуюся тряпку. Вскоре Беркуло понял, что разумнее всего будет изображать глубокий сон, и теперь при каждом появлении Симки спал изо всех сил. И

преспокойно смотрел из-под полусомкнутых век, едва удерживаясь от улыбки, как девчонка кружит по шатру, осторожно посматривая на храпящего гостя, и подолгу смотрит на него своими чёрными глазищами. Как же на Кежу похожа, в который раз думал Беркуло, и озадаченный, и польщённый, и немного растерянный от этих девичьих взглядов, которых никогда прежде не было в его жизни. Совсем Кежа, только моложе... Да и красивее, чего уж там. И ничья пока ещё. Забрать её, что ли, с собой? Но, подумав так, Беркуло только усмехался: пойдёт она, как же! Зачем ей связываться с кишинёвцем? Чтобы всю жизнь дожидаться его из тюрьмы? Кишинёвки могут, они другого не знают, а русские цыганки привыкли, что мужья-барышники всегда при них. Если Симка с ним пойдёт – только мучиться всю жизнь будет. А мучений этой девочке с тёмными большими глазами, с тонкими руками и тяжёлой копной волос Беркуло не хотел.

Всё-таки он не выдержал. И однажды, тёплым и сырым вечером, когда степь дышала недавно прошедшим дождём, Беркуло встретил Симку, сидя на перине со своим биноклем в руках. Он слышал, конечно, как подкрадывалась к палатке девчонка, но прикинулся напрочь оглохшим, с озабоченным видом вертя в пальцах чёрный блестящий прибор. Расчёт Беркуло полностью оправдался: Симка ахнула от любопытства и впиалась в бинокль взглядом:

– Что это у тебя?!

– А-а, девочка... – Он поднял глаза. – Это, знаешь... такая

штука для войны.

– Она стреляет? – испуганно спросила Симка.

– Нет, для другого. Чтобы видеть далеко.

– Врёшь... Как это можно? – недоверчиво сощурилась она, чуя подвох и держась на всякий случай поближе к выходу из шатра.

Беркуло усмехнулся:

– Хочешь, дам посмотреть?

Девушка колебалась, поглядывая то на бинокль, то на выход из палатки, то на абсолютно невинное лицо Беркуло, который жестом пригласил её сесть рядом. На его счастье, около палатки сейчас не крутилось никого из цыган: все столпились у соседнего шатра, где готовилась на костре еда. Симка глубоко вздохнула и осторожно – готовая в любой момент подхватиться и вылететь из шатра – присела рядом.

– Куда надо смотреть? Ты не врешь? Побожись, что она не выстрелит!

– Да умереть мне... Держи.

Он показал, куда нужно заглядывать, и направил бинокль на большую дыру в полотнище шатра. Сквозь прореху розовело вечернее небо, которое пересекала лёгкая вереница журавлей. Симка посмотрела на них и ахнула, чуть не выронив бинокль:

– Дэвлалэ! Ой, божечки, как же это, ой!!! Ой, вот же они... журавли... Ах, как красиво!

Она жадно припала к биноклю, ведя его за улетающими

птицами... А Беркуло вдруг почувствовал, как темнеет в глазах оттого, что Симка внезапно оказалась так близко, что широкий, продранный на локте рукав её красной кофты лёг на его руку. Горьковатый, свежий запах её ещё влажных от недавнего дождя волос ударил в голову так, что на миг остановилось дыхание. Уже ничего не соображая, Беркуло потянулся к Симке, тронул мягкие чёрные пряди, коснулся их губами и...

– Ай! Да чтоб тебя!!!

Сильный толчок в грудь отбросил его на перину, немедленно отдался в едва зажившую руку, и Беркуло взвыл от боли. Бинобль упал на подушку возле него, а Симки уж и след простыл: только грязные пятки мелькнули да ветром метнулась ему в лицо песня, которую пели у костра цыгане. Беркуло закрыл глаза, зажмурился. С тоской подумал, что теперь Симка больше не придёт. Не придёт совсем – а ему со дня на день нужно уходить отсюда. И куда он коней погнал, зачем полез её целовать, дурак... Забыл, что она цыганка, что так нельзя? Расскажи она обо всём своим братьям или деду – его в лучшем случае выкинут из табора. Про худший даже и думать не хотелось – с подбитой-то рукой и незаряженным «наганом»... Эти цыгане, конечно, раненого убивать не станут... Но всё равно ничего хорошего не получится. В глубине души Беркуло понимал, что Симка никому ничего не скажет, чтоб не пришлось самой объяснять, что она делала в шатре наедине с чужим взрослым цыганом. Никому не ска-

жет, глупая... Но и не придёт больше.

Так и вышло. День шёл за днём, рука заживала. Беркуло уже начал выбираться из палатки, вечерами сидел вместе со всеми. Слушал песни, досадуя про себя на то, что не сможет запомнить ни одной, чтобы научить своих петь такое же. Пару раз у костра он видел и Симку, но она не замечала его в упор. Беркуло догадывался, что именно из-за него она каждый вечер отказывалась выходить плясать, как ни упрашивали её подруги – видимо, она была хорошей плясуньей. Но Симка сидела молчаливая, хмурая, обхватив руками колени и уронив ресницы. Иногда, правда, соглашалась спеть, и Беркуло удивлялся её сильному, низкому, совсем как у взрослой женщины голосу. Весёлых песен Симка ни разу не пела при нём, а заводила всё одну, долгую и грустную, как зимняя ночь:

– Ах, на дворе мороз, мороз большой...

Щемило сердце, ком стоял в горле. Ну, что Беркуло мог поделаться? Надо было просто поскорее уходить...

А над степью уже начали проноситься первые грозы. Порывы внезапного ветра уносили пыльцу с цветущей травы, клонили до земли молодой ковыль, рвали последние лепестки с отцветающих тюльпанов. Молнии с весёлым треском полосовали вспухшее сизыми тучами небо, по нему сухим горохом катался гром – и наконец прозрачной стеной шёл из-за меловых холмов тёплый дождь.

Но в тот день до дождя ещё было далеко. Только-только

перестали жужжать над травой насекомые, пропали птицы, только начала вставать над холмами тёмно-синяя громада. Беркуло лежал в шатре, где дышать было нечем от густого, вязкого воздуха. Пытался дремать, вяло раздумывая о том, когда лучше трогаться в путь – завтра наутро одному или всё же доехать с этими цыганами до Ростова. Жарко было так, что рубаха липла к груди. Беркуло старался вообще не шевелиться и понемногу засыпал.

Внезапно дрогнул, поехал в сторону рваный лоскут, загромождающий вход, вытянулась к самой перине длинная тень: кто-то неслышно вошёл в шатёр. Беркуло закрыл глаза, прикидываясь спящим. Он уже знал, кто это осторожно, на цыпочках подкрадывается к нему. И изо всех сил старался не шевельнуться.

Симка подошла, присела рядом: Беркуло услышал, как прощуршала её юбка. Долгое время девушка сидела не двигаясь, Беркуло успел насчитать шесть ударов грома над шатром, каждый – всё ближе. Между раскатами он слышал Симкино лёгкое дыхание. А потом вдруг что-то коснулось его лба, и он чуть не подскочил от неожиданности.

Слава богу, удержался. И лежал, как оглушённый обухом, совершенно потерянный, ничего не понимая, почти не дыша, пока маленькая, тёплая ладонь гладила его по голове, а на лоб ему падали такие же тёплые слёзы. И отчётливо понимал: хоть весь мир сейчас обвалился и полети в ад – он не откроет глаз и не двинется с места. И чёрту душу продаст,

лишь бы Симка не убрала руки. Ведь никто прежде не обращался так с ним. Никто не плакал из-за него так тихо и горько, капая ему на лоб слезами, никто не гладил его по голове – ни разу за все его двадцать восемь лет. Почему же эта девочка, почему – сейчас, почему – из-за него, дэвла?..

– Перестань, змей, прикидываться. Насквозь вижу, – вдруг тяжёлым от слёз голосом сказала Симка, и ладонь её остановилась. – Давай-давай, открывай глаза.

Что было делать? Он открыл. И без улыбки взглянул в её мокрое лицо, в глаза, которые из-за стоящих в них слёз казались ещё огромнее.

– Как же нам быть теперь? – шёпотом спросила она. – Ты мужчина... Говори, решай.

– Тебе сколько лет? – помолчав, спросил Беркуло.

– Шестнадцать.

– О, господи... Поедешь со мной?

– Конечно, – пожав плечами, спокойно, даже чуть раздражённо сказала она. – Когда хочешь ехать?

– Сегодня. Ночью на дороге тебя ждать буду.

– Мишто¹⁸, – коротко сказала Симка. Встала и, не глядя на него, быстро вышла из шатра. Почти сразу же, словно дожидаясь этого, яростно бухнул гром, и на палатку обрушился ливень. Беркуло торчком сел на смятой перине, обхватил руками колени, чувствуя, как что-то горячее и озорное распирает его изнутри, и понимая, что не так-то просто будет

¹⁸ Хорошо (цыганск.).

сегодня дожить до вечера.

...К крошечному полустанку в степи Беркуло и Симка подошли ранним утром, когда гроза, отгремев, уползла за Дон, а очистившееся небо залилось прозрачно-розовой зарёй. Напоённый дождём воздух был свежим, влажным, вкусным, как родниковая вода. Шагая по дорожным лужам, Беркуло искоса поглядывал на идущую рядом девочку, беспокоясь про себя: не устала ли. Какое там!.. Симка шла как плясала, упруго ступая босыми, измазанными рыжей грязью ногами. Она на ходу встряхивала ладонью мокрые волосы, и они, понемногу высыхая под ранним солнцем, пышно кудрявились над её головой. Никогда в жизни он такой гривы не видел! Беркуло невольно передёрнул плечами, замедлил ход, чувствуя, как сладкий туман кружит голову. С ним теперь эта девочка! Навсегда... до сих пор не верится. Прибавив шагу, он догнал её, обнял сзади, потянув на себя. Симка ахнула от неожиданности, споткнулась. И со смущённой улыбкой, мягко, но настойчиво отвела его руки.

– Что ты? – удивился он.

– Не надо... Не надо пока, хорошо? – прошептала она. – Давай доедем до твоих, как собирались! Пусть твоя семья знает, что я честная... И так, верно, не рады будут, что чужую взял. А если ещё и рубашки моей не увидят!..

Она была права, и Беркуло, вздохнув, отстранился. Чуть помедлив, попросил:

– Посмотри на меня.

Ой, как же он это любил! Раз за разом не уставал любоваться, как вздрагивают, начинают шевелиться, словно живые, длиннющие Симкины ресницы, как они медленно поднимаются, словно крылья какой-то сказочной птицы, как начинают сумрачно светиться из-под них чёрные глаза, – и как, наконец, ресницы распахиваются совсем, и эта чернота плещет тебе в лицо, останавливая дыхание, лишая разума... Ведро золота не жаль за такие глаза. Глупая... Боится, что его родня бурчать будет. Да родня, когда эти глаза увидит да этот голос услышит, ума лишится! Братья обзавидуются! Нет... Он, Беркуло, умирать будет – не пожалеет, что украл для себя эту девочку!

Вдали показался окутанный чёрным облаком дыма паровоз. Беркуло сощурился против солнца, дёрнул Симку за руку:

– Ну-ка, быстрее! Если помедленней пойдёт, в вагон попросимся, до Ростова с ними доедем. А там до наших рукой подать.

– А пустят? – опасливо спросила Симка. – Верно, денег дать нужно?

– Кому – солдатам?.. – рассмеялся Беркуло. – Да ты им спой, спляши – и они тебе сами накидают! Учить тебя, цыганка?!

Симка залиvisto расхохоталась, откинув голову, блестя влажной подковой зубов. И впереди него кинулась к составу

из вагонов-теплушек, который в самом деле замедлял ход. Беркуло удержал Симку за руку и сунул ей тяжёлый узелок с монетами из своей сумки. Увидев изумлённо округлившиеся глаза девчонки, пояснил:

– Ежели чего – тебя-то обыскивать не будут.

Поезд притормозил перед подъёмом, но останавливаться не собирался, и Симка, на бегу спрятав узелок в кофту, обернулась к Беркуло:

– Прыгаем?

– А сможешь? – усомнился он. Она засмеялась и вдруг припустила, мелькая коричневыми ногами, так, что вмиг поравнялась с теплушкой, из которой скалились весёлые рожи красноармейцев.

– Солдатики, родненькие, словите, за ради бога! – заголоваила Симка. Вагон взорвался хохотом, и сразу несколько рук потянулись ей навстречу.

– Гей, товарищи, цыганку лови! Эка несётся, чичас паровоз обгонит!

– Спёрла, поди, чего на хуторах? Во ногами-то мельтешит, гляньте!

– Давай, чернявая, чепляйся! Руку тяни!

– А мужа-то, а мужа-то моего!!! – заверещала Симка, уже возносимая в вагон крепкими мужскими руками. – Ой, разбрильянтовые, а мужа-то моего поймайте!

– Га-а-а! – затряслись от гогота стены теплушки. – Красавица, а он нам на что, мужик-то твой? У нас тут гарных

много, зараз нового выберешь!

Симка задохнулась от ужаса... Но тут же растерянно улыбнулась, поняв, что солдаты шутят. К тому же Беркуло уже и сам стоял в вагоне, взлетев в него без всякой помощи. Симка сразу же бросилась к нему и, не пряча облегчённого вздоха, спряталась за его плечо.

– Далеко едете, цыгане? – спросил немолодой красноармеец с морщинистым лицом.

– Куда получится, – пожал плечами Беркуло, усаживаясь на затоптанный пол вагона. – Если повезёт, так до Ростова.

– А с чего так бежали? Не украли ль чего?

– Вот её украл, – кивнул Беркуло на улыбающуюся Симку.

– Вон куда! – Дядька блеснул крепкими желтоватыми зубами и с усмешкой взглянул на молодых солдат. – Видали, пентюхи, как надо? Это вам не за солдатками, как за курицами, по сараям бегать!

– А какая, дядя Митяй, разница? – усмехнулся рябой парень с нагловатой физиономией. – Под подолом-то у них одинаково, поди, всё налажено...

– Всё, да не всё. Женишься – узнаешь... Может, Сеньку добудимся? Пушай на них поглядит!

– Да он от коней не ворочался... Вот станет паровоз – сбегает за ним.

– Это кто? – настороженно спросил Беркуло, на всякий случай косясь в сторону неприкрытых дверей теплушки. – Старшой ваш?

– Да не... Цыган у нас тут один имеется, Семёном звать. Только он здесь не едет, а завсегда в лошадином вагоне. Так и говорит: «На чёрта вы мне, дурачье, когда кони есть?» И то сказать – больной до них! Он с ними говорит – а они его понимают!

– Из каких он, Сенька ваш?

– Да кто ж вас разберёт? – искренне удивился дядя Митяй. – Цыган и цыган... Морда, как у тебя, копчёная, глазастый... Смоляков фамилие. Знаешь?

– Нет, я здешних цыган не знаю. Она вот, может... – Беркуло скосил глаза на Симку и увидел, что она уже спит, откинув голову на щелястую стену вагона и по-детски приоткрыв розовые губы.

– Устала красавица твоя! – Рябой парень, смеясь, хлопнул Беркуло по плечу. – И ты бы спал, цыган, дорога ещё долгая. Поснедать не хочешь? Таранька есть, сухари...

– Спасибо. Не голодный.

– Тады ложись туда к стенке и девку туда ж откати, вам там потише будет, – распорядился дядя Митяй. – Как остановимся водички набрать, я за Смоляковым схожу. Авось вам и родня отыщется.

Беркуло поднял неподвижную, обвисшую в его руках Симку на плечо, отнёс в темноту, к стене, сам повалился рядом, чувствуя, как страшная, чугунная усталость давит на голову, не давая даже вдохнуть ещё раз Симкин запах, коснуться её шеи, руки... «Девочка... моя теперь...» – подума-

лось в последний раз. И Беркуло провалился в сон, как в колодец.

Через полтора часа состав с шипением и грохотом, исходя паром, остановился у крошечной станции, и рябой красноармеец немедленно унёсся куда-то вдоль перрона. Вскоре в вагон бесшумно, как дикое животное, впрыгнул молодой красноармеец в сбитой на затылок будёновке, из-под которой буйно лохматились иссиня-чёрные волосы. С загорелого лица, из-под сросшихся бровей смотрели огромные, сумрачные глаза.

– Здорово! Где тут у вас цыгане?

– А, Смоляков, залазь! Надолго тебя кони-то отпустили? Вороной увольнительную с печатью выписал? – заржали парни, но Семён отмахнулся от них, как от мух, и шагнул к тёмной стене вагона, где спали неожиданные пассажиры.

– Вот ведь дрыхнут цыгане-то! – с уважением сказал дядя Митяй. – Девчонка прямо сразу заснула, как в вагон влезла, да и мужик её тоже... – Он осёкся, увидев, как с пола смотрят на него светлые спокойные глаза Беркуло.

– Глади, проснулся! Ну, вставай, цыган, узнавай родню!

– Он мне не родня, – негромко сказал Беркуло, усаживаясь и пристально разглядывая тёмную физиономию Семёна. – Чей ты, брат?

Тот ответил не сразу, внимательно разглядывая лежащую у стены Симку. Беркуло проследил за его взглядом и сразу подобрался весь, но Семён уже повернулся к нему и, улыб-

нувшись, сказал:

– Русско ром¹⁹.

– А я из кишинёвцев, – глядя на него в упор, улыбнулся Беркуло. Он знал, как пугает людей его улыбка, но на тёмном, неподвижном лице парня, напротив, не отразилось ничего. Он задал ещё несколько коротких вопросов, Беркуло ответил ещё короче: да, едет к своим в Ростов. Да, вот взял девочку из русских цыган. Да, согласилась убежать с ним. Да, вот этой ночью и рванули из её табора, помолясь... А ты почему спрашиваешь? Родня ты ей, что ли? Разбудить её, брат, поговорить хочешь?

Разбудить Симку и в самом деле стоило, хотя бы для того, чтобы в случае чего сигануть вместе с ней из вагона – и плевать, что под откос. Чем вежливее и сдержаннее вёл себя этот молодой цыган с громадными чёрными глазами, тем сильнее росла тревога Беркуло. Он никак не мог понять, отчего ему так беспокойно, ведь парень вёл себя так, как любой цыган, встретивший на своей дороге другого цыгана. И вопросы были знакомыми, и ничего лишнего он не спрашивал, но... Но горячая игла вертелась в сердце, и Беркуло никак не мог унять её.

К счастью, Семён быстро выяснил, что людей из его табора Беркуло не встречал, и, сразу утратив интерес к кишинёвцу, вернулся к своим лошадям. Беркуло тут же успокоился. Объяснил недоумевающим красноармейцам, что они с этим

¹⁹ Русский цыган (цыганск.).

Смоляковым знать друг друга не знают и родни общей у них не имеется, съел предложенную тараньку и снова заснул.

– Вона как... А мы-то думали, что все цыгане промеж себя родня! – удивлённо толковали красноармейцы. – Когда в Харькове стояли, так Смоляков на базаре каку-то цыганку отловил и битый час из неё душу мотал – всё про родню свою добивался. Она, бедная, аж охрипла рассказывать... А с этим двумя словами перебросились – и разбежались! Вот и поди их разбери!

– У них черти в родне, вот нашему брату их и не понять, – степенно пояснил дядя Митяй, глядя на то, как состав набирает ход и мимо всё быстрее начинает мелькать отцветающая степь. – Это нам Советская власть чертей отменила, а им-то, отсталому элементу, кто запретит?.. Пущай их...

Ночью в дверь теплушки заглядывала рыжая тревожная луна. По временам её заволакивали полосы облаков, которые становились всё плотней и гуще, а за курганами уже глухо погромыхивала новая гроза. Красноармейцы спали. Вагон был наполнен ровным густым храпом, пахло перекисшими портянками, потом, табаком.

На полу вагона лежала полоса лунного света. Внезапно её пересекла чёрная тень: кто-то ловко и быстро, соскользнув с крыши вагона, вскочил в теплушку, метнулся в сторону, к темноте. Некоторое время оттуда насторожённо поплёскивали белки глаз. Но ни один из спящих в теплушке мужчин не пошевелился, и, выждав для верности ещё минуту, Семён

выпрямился и, осторожно ступая, направился к дальней стене, где спали цыгане. Старые, разошедшиеся доски ни разу не скрипнули, когда он подошёл и, наклонившись над спящей Симкой, некоторое время смотрел в её лицо. Затем присел рядом на корточки и стал ждать.

Ждал он недолго: вскоре состав свистнул паровой струёй и замедлил ход, взбираясь на очередной холм. Холм был крутой: в какой-то миг поезд почти остановился. В ту же минуту Семён наклонился к Симке, схватил её в охапку, крепко прижав лицом к своему плечу, и вместе с ней бросился к открытой двери вагона. Девушка сонно, не открывая глаз трепыхнулась в его руках, застонала.

– Молчи, это я, молчи... – невнятно буркнул он и вместе со своей ношей вылетел из вагона. Ни один из лежащих на полу солдат даже не шевельнулся. По стене снова протянулась серебристая лунная полоса, которую больше никто не тревожил.

На ногах Семён, разумеется, не удержался и, не выпуская своей добычи из рук, кубарем покатился под насыпь, на дно неглубокого оврага, по которому чуть слышно журчала быстрая речушка. Мимо, стуча, проносился состав. Семён, вскочив на ноги, проводил глазами последний вагон, с лошадьми. Он был совершенно уверен, что видит морду своего вороного и верный друг удивлённо смотрит на него. Семён чуть слышно застонал сквозь стиснутые зубы... И в тот же миг в лицо ему сильно, разбив нос, ударил маленький, жёст-

кий кулак.

– Ах ты!.. Паскудник такой, что вздумал!!! – взметнулся над оврагом дикий крик, и Симка вскочила на ноги, растрёпанная, оскаленная и злая. – Ты кто такой, ты откуда права взял, чтоб от мужа меня красть?! Да он теперь тебя насмерть застрелит, рассукин ты сын, ну погоди!.. – Она, подобравшись, кинулась было бежать вверх по насыпи, но поезда уже не было видно.

– У-у-у-у... – бессильно завывала Симка, грозя кулаком вслед уходящему составу. Затем развернулась и молча кинулась на своего похитителя. Но тот был к этому готов и двумя сильными движениями заломил девушке руки за спину.

– Ту ромны лэскэ, ракирэса?²⁰ – спросил он, не обращая внимания на то, как Симка бьётся, осыпая его бранью. – А кай тыри гад, сыкав!²¹

Яростная ругань смолкла, как отхваченная ножом – Симка с вытаращенными глазами уставилась на чёрную фигуру напротив. Затем с трудом, едва шевеля губами, выговорила:

– Нет... не жена... До его табора ехали, там хотели свадьбу играть, чтоб... чтоб по-хорошему... Дэвлалэ! Сенька! Пшало!²² Это ты?! Ты живо-о-ой?!

– Я, сестрёнка, – коротко усмехнулся Семён. – Не рада? Симка всплеснула руками и села где стояла, уткнувшись

²⁰ Ты жена ему, говоришь? (цыганск.)

²¹ А где твоя рубашка, покажи! (цыганск.)

²² Брат! (цыганск.)

лицом в колени. В лунном свете было видно, как мелко трясутся её худые плечи. Семён, помедлив, присел рядом. Некоторое время в овраге было тихо. Луна ушла в чёрные тучи, угрожающе заворчал гром.

– Зачем, Сенька, зачем?! – хрипло, со стоном выговорила Симка, мотая растрёпанной головой. – Какой только чёрт тебя на нашу дорогу привёл, зачем?! Он же меня не силой взял... Я сама, понимаешь ты, сама с ним пошла! По уговору! По согласию!

– Тебя дед за него отдал? – ровно спросил Семён.

– Нет! – взвилась Симка. – Я и не спрашивала! Я просто с ним пошла, и всё!

– Ну, а теперь назад пойдёшь, – невозмутимо сказал он. – Коли вправду целая ещё.

– Да не трогал он меня, сволочь ты!!! – зашлась в крике Симка. – Он по-честному хотел, бревно ты несчастное, что ж ты влез-то?! Что ж ты с моей долей сделал, будь ты прок...

– Не проклинай, ещё благодарить будешь. – Семён невесело усмехнулся, повернулся к сестре, пристально взглянув на неё большими тёмными глазами. – Ты, дура, хоть знаешь, кто он?

– Знаю! Знаю! Он кишинёвец, его Беркуло зовут! Из мунзулештей! Он вор! И все они воры! Как наш Мардо, только ещё хуже!

– Он сам тебе сказал? – удивился Семён. И вздохнул, глядя в залитое слезами, решительное и несчастное Симкино

лицо. – Дэвла... И в кого ты вовсе без ума уродилась, сестрёнка?

Симка, не ответив, схватилась за голову. Молчал и Семён. На лицо ему упала первая капля, сбежав прохладной дорожкой по разгорячённой коже. Удар грома разорвал гнетущую тишину прямо над ними, полыхнула слабым светом молния.

– Мы с тобой утра дождёмся, – наконец сказал он. – А там потихоньку до наших пойдём. Ты не бойся, целой ведь осталась – тебя этот Беркуло не пробил. Ну, покричит дед... может, даже кнутом помашет... Ну и всё. Ещё замуж выйдешь по-человечески, свадьбу сделаем.

– Будь ты проклят... – глухо, сквозь зубы выговорила Симка. – Чтоб тебя черти на тот свет за лошадиный хвост привязанным волокли... Чтоб у тебя вся жизнь почернела... Господи, зачем, зачем, зачем?! Я же всё равно от тебя сбегу! Горло тебе зубами перерву – и сбегу! К нему! Всё равно!!!

Семён без злости, изумлённо смотрел на сестру. Затем недоверчиво спросил:

– Симка, да ты рехнулась, что ли? Или оглохла? Ты хоть слышала, что я тебе говорил?! Вор он, твой Беркуло, бандит! Он людей, поди, убивал!

– И ты убивал!!! – Симка плюнула ему в лицо с такой силой, что сама закашлялась и, давясь удушьем, едва смогла договорить: – Ты сам живых людей на войне убивал, гад, а мне...

Она не договорила: удар по лицу сбил её с ног, опрокинул

в невидимую воду ручья.

– Дура проклятая... – тихо сказал Семён, поднимаясь на ноги и рывком вздёргивая перед собой сестру. – Пойми ты мозгами своими курьими, он за золото... за цацки брильянтовые убивал!

– Он хоть за золото, а ты – за просто так!!! – выпалила Симка... И, поймав взгляд брата, зажмурилась от ужаса.

Семён стоял молча, неподвижно, струи дождя сбегали по его застывшему лицу. Наконец он закрыл глаза. Коротко вздохнув, негромко, очень спокойно выговорил:

– Утра дождёмся, говорю. Потом пойдём. А ещё раз гавкнешь – башку тебе скручу. Я из-за тебя, шалава чёртова, своего вороного в вагоне бросил! Насовсем бросил... понимаешь?! Он сотни таких, как ты, стоит!.. Тьфу, убил бы, паскуду... деда с бабкой жалко. – Он вытащил из кармана моток верёвки, крепко связал Симкины запястья, толкнул её на землю и, не слушая жалобного писка, сел рядом. Дождь шёл всё сильнее, шлёпал по воде ручейка, шелестел в полёгшем бурьяне. Сдавленно плакала, уткнувшись лицом в землю, Симка. Мокрые волосы облепили её спину, худые, торчащие лопатки. Семён сидел не шевелясь, обхватив руками колени. Смотрел в темноту.

Красноармейский состав за неполные сутки успел уйти довольно далеко от того места, где в него вскочили Симка и Беркуло. Семён понимал, что надо спешить: в любой миг кишинёвец мог проснуться, увидеть, что Симка исчезла,

вспомнить русского цыгана и кинуться в погоню. Была ещё слабая надежда на то, что Беркуло подумает, будто Симка сбежала добровольно, и не станет догонять несостоявшуюся невесту. Но Семён вспоминал загорелое, твёрдое, обманчиво добродушное лицо кишинёвца с жёстким блеском в светлых глазах и понимал, что отступится тот навряд ли. Догнать табор нужно было как можно быстрее.

Однако, прошагав со связанными за спиной руками и надменно задранным подбородком около получаса, Симка внезапно сообразила, что делает как раз то, что нужно брату, и остановилась так резко, что Семён налетел на неё.

– Ты что?!

– Шагу больше не сделаю! – процедила она, решительно плюхаясь в дорожную грязь и морщась от боли в связанных руках.

– Да ты одурела, что ли?! – заорал Семён. – Вставай! Пошли! Дура чёртова!!!

– Тьфу на тебя! Тьфу на тебя сто раз! Тыщу! Мильон!!!

– Симка, да что ж ты... Поднимайся, проклятая! Идти надо!

– Ага, чичас, разбежуся только – и рысью через степь пойду! – съязвила она сквозь зубы.

От отчаяния Семён выругался непотребным словом, в тоске покосился на горизонт, пропадающий в желтоватом жарком мареве, задумался о чём-то, нахмурив брови... и вдруг, пружинисто нагнувшись, схватил сестру на руки и пе-

ребросил через плечо.

– Пусти, собачий сын! Чтоб ты под забором в канаве кишками наружу окошел! Чтоб у тебя в пузе черви завелись, чтоб тебе кровью под себя ходить!!! – брыкалась и извивалась Симка. Но Семён от души треснул её кулаком между лопатками, грубо встряхнул и, свернув с большой дороги, зашагал по степи к дальней, едва видной стёжке.

К счастью, он знал эти места: год за годом табор деда проезжал здесь, следуя привычным путём из-под Смоленска в придонские степи, и каждый холм, каждая извилина речушки, каждый курган были знакомы Семёну. И чуть заметную в ковыле стёжку он тоже выбрал не зря: сильно отклоняясь от большака, она долго петляла между разбросанными по степи хуторами, но в конце концов выводила терпеливого путника прямо к излучине Кубани, соединяясь там с большой дорогой. Семён был уверен, что кишинёвец об этой степной тропке знает навряд ли. Дело оставалось за малым: доволочить до неё Симку и как-то исхитриться заставить её идти дальше своими ногами.

Прошагав со связанной Симкой на плече полторы версты, Семён добрался наконец до знакомой, пустынной, убегающей сквозь сквозные метёлки ковыля дороги и с облегчением свалил сестру на обочину.

– Всё! Вставай, кобылица! Дальше на своих ногах у меня пойдёшь!

Не тут-то было. Эта паскуда не только не пошла, но, ехид-

но усмехнувшись, попросту разлеглась посреди дороги, закрыла глаза и перевернулась на живот, чтобы Семён мог полностью насладиться двумя кукишами. Их Симка прекрасно изобразила даже связанными руками.

– Ну, мишто... мишто, – негромко сказал Семён, чувствуя, как темнеет в глазах от ярости. – Хорошо, сестрёнка. Сидеть так сидеть.

Белое степное солнце зависло в выцветшем, звенящем от зноя небе. Прозрачное марево дрожало над травой бесцветными, переливающимися волнами. Неподвижно торчали стебли ковыля, монотонно цвиркали кузнечики. Высоко-высоко, почти невидимые глазу, парили над курганами ястребы. Изредка проскакивала через дорогу суетливая перепёлка с выводком шариков-птенцов. Душный день перевалил за полдень, небо на западе опять взбухало лилово-чёрной грозовой полосой. Поглядывая на неё, Семён с тоской думал о том, что через час их накроет грозой в чистом поле. Во рту давно пересохло, желудок, в котором с позавчерашнего дня не было ни крошки, скукожился от голода. Курево – и то осталось в вагоне, а при очередном воспоминании о покинутом вороном к горлу подступил ком.

– Симка, девочка, хватит тебе дурить, – сиплым от жары голосом попросил он, покосившись на запрокинутое к небу, покрытое коркой подсохшей грязи лицо сестры. Она лежала так уже четвёртый час, не шевелясь, не поднимая ресниц, и не оборачивалась, когда брат время от времени окликал её.

Не обернулась она и сейчас.

– Ну скажи, холера упрямая, сколько ты этак собираешься? – мрачно спросил Семён. – Всё едино пить-жрать захочешь – встанешь. И я хоть подохну, а в табор тебя отволоку. Пусть и на своём горбу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.